



**ГОРЬКАЯ
СЛАВА**

ГОРЬКАЯ СЛАВА

СБОРНИК РУССКОЙ ПРОЗЫ XX ВЕКА

Учебное пособие

Утверждено Министерством образования
Латвийской Республики



РИГА «ЗВАЙГЗНЕ»

83. 3Kz 72
Гo 71

КОЛЛЕКЦИЯ
СЕРИЯ

СЕРИЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
СЕРИЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Составитель *А.Н. Семенов*
Рецензент *Л.А. Шилина*

ISBN 5—405—01167—3

© Составление — А. Семенов, 1994



ПРЕДИСЛОВИЕ

”Мне выпала горькая слава быть человеком, который идет на рожон. И еще горькая слава мне выпала — долг мой — быть русским писателем и быть честным с собой и с Россией...”

Борис Пильняк

Уважаемый старшеклассник! Ты открыл книгу ”Горькая слава”. Это сборник прозы русских писателей.

”Горькая слава” — быть русским писателем и быть честным писателем в XX веке. Горькая еще и потому, что представленные в сборнике имена и произведения — из широкого потока возвращаемой сегодня литературы. Появление их в печати, иногда с опозданием в несколько десятков лет, вносит значительные коррективы в наши представления о русской литературе XX века. Эти представления формировались в результате длительного и воинствующего господства мифологизированной идеологии в искусстве. Ряд писательских имен и произведений, неизменно и незыблемо включавшихся в школьную программу и в круг широкого читательского чтения, составил для многих миллионов читателей ”историю русской советской литературы” — один из самых прочных литературных мифов.

Настоящая история русской литературы неизмеримо богаче и многообразнее. Одно из свидетельств

этому — сборник "Горькая слава", отнюдь не претендующий на полноту представления имен и произведений возвращающейся, вновь вспоминаемой русской прозы. Одни писатели давно известны читателям, однако часть их творческого наследия, иногда весьма значительная, оставалась недоступной или вообще неизвестной. Другие только сейчас становятся достоянием широкого читательского круга. Причины тут разные: есть те, кто сразу после Октябрьской революции оказались за границей, и их имена со временем стали запрещенными, есть и те, кто погиб от репрессий, но есть и такие, кто не выехал и не пропал в сталинских застенках, но оказался очень не ко двору в советской литературе — их произведения часто носили провидческий характер, представляя опыт социального прогнозирования, отнюдь не радужного для социалистических идей, или содержали критику "казарменного социализма", нарушающего основные законы природы, отчуждающего человека от мира, от вселенной, от другого человека...

Дмитрий Мережковский, Иван Шмелев, Аркадий Аверченко и другие оказались за границей, и вследствие этого даже дореволюционное их творчество попало под запрет. Иная судьба у Михаила Булгакова и Андрея Платонова, которые многое из написанного ими так и не смогли увидеть при жизни опубликованным и остались неизвестны широкому кругу читателей. А вот Илья Эренбург — признанный и обласканный, удостоенный наград и званий, давно почитается как классик советской литературы. Его рассказ "Ускомчел", помещенный в сборнике, даже удостоился похвалы самого Сталина (несколько поколений советских людей читали об этом в одной из его книг), заметившего, что у "русского писателя Ильи Эренбурга" есть рассказ "Ускомчел", в котором

метко подмечена и правдиво отображена болезнь, свойственная нарождающемуся классу партийных функционеров. Однако книга с этим рассказом выходила только за рубежом (первый раз в Берлине в 1922 г.), а в нашей стране частично опубликована лишь в 1991-м...

Была своя трагическая закономерность и в том, что произведения Бориса Пильняка и Алексея Ремизова, Леонида Добычина и Евгения Замятина так долго не выходили в свет. Не только потому, что они были "идеологически опасными", хотя власть предрешающими безошибочно угадывалась "ересь" и никакого инакомыслия не допускалось: от читательской аудитории отчуждались произведения не только "идеологически вредные", но и с "нейтральным содержанием", как далекие от "генеральной линии" социалистического реализма.

Такая "далекость" нередко влияла на судьбу авторов и произведений. Виной писателя могла стать сама необычность стиля. Поэтика абсурда, черты модернизма, "орнаментализм" прозы и т.д. и т.п. — оказывались причинами, которые закрывали путь для многих произведений к читателю. Но литература, отмеченная этими чертами, развивалась по своим внутренним, не зависящим от решений и постановлений общих писательских собраний, законам и подспудно оказывала влияние на формирование нового мышления. Сегодня, когда это искусство становится доступным читателю, являя собой высокие образцы художественной прозы, оно открыто воздействует на сознание человека, все более раскрепощая его, побуждая к поиску истины, раскрывая многообразие возможных путей этого поиска.

Возможно, некоторые из помещенных в сборнике произведений покажутся тебе, уважаемый старше-

классник, непонятными, а значит, ненужными и неинтересными. Современному читателю, выросшему преимущественно на "простоте и ясности" идеологических догм, запечатленных послушным искусством, на господстве метода социалистического реализма, действительно не все и не сразу будет понятно, к примеру, в прозе Е. Замятина и Б. Пильняка, А. Ремизова и Л. Добычина... Однако, не спеша, юный читатель, судить и оценивать, откладывать книгу или листать ее до того места, где будет понятнее. Многие из художественного наследия требуют более вдумчивого, глубокого, осознанного прочтения. Часто это свой, не похожий на другие — оригинальный взгляд на мир и свое оригинальное его отображение в слове.

При всей разности творческих манер и судеб авторов сборника "Горькая слава" общим для них, на наш взгляд, является внимание к общечеловеческому, к огромному ценностному потенциалу, хранимому отдельной личностью, а также явлениям социальной жизни, не позволяющим этот потенциал раскрыть.





ФЕДОР КУЗЬМИЧ СОЛОГУБ

(Федор Кузьмич Тетерников)

(1863—1927)

Федор Сологуб — один из крупнейших писателей и теоретиков символизма, находившийся у истоков этого движения. Прозу его отличает исключительная острота восприятия страшных сторон жизни, он вскрывает реальные причины зла, которое чаще всего представляется писателю неустрашимым и искони присущим земному бытию. С русской классической литературой XIX века Сологуба роднит гнетущее ощущение обывательской пошлости, стремление к осмеянию законопослушной благонамеренности, осуждение боязни всего нового, выходящего за рамки установленного. Пороки общества писатель обычно доводит до предела, описанный им кошмар обывательского существования нередко граничит с бредом.

Повествование в произведениях Сологуба часто держится на едва заметном переходе от реальности к фантастике. Неожиданные или странные происшествия в жизни героев происходят то ли наяву, то ли во сне, то ли в бреду. Он словно показывает "внешнюю" маску своих героев и скрытое, но истинное, "внутреннее" лицо их.

Героями многих произведений Ф. Сологуба, двадцать пять лет отдавшего школе, являются дети, — "дети в форме" (школьники, гимназисты)

или "кухаркины дети", противопоставленные миру взрослых. Такое противопоставление обычно кончается трагически.

Зинаида Гиппиус писала о Федоре Сологубе: "Он бывал всюду, везде непроницаемо-спокойный, скупой на слова, подчас зло, без улыбки остроумный. Всегда немножко волшебник и колдун. Ведь и в романах у него, и в рассказах, и в стихах — одна черта отличающая: тесное сплетение реального, обыденного, с волшебным. Сказка ходит в жизни, сказка обедает с нами за столом и не перестает быть сказкой..."

МЕЧТА НА КАМНЯХ

I

За годом год проходит, проходят века, и все не открыта человеку тайна о мире и еще бóльшая тайна о его душе. Спрашивает, испытует человек и не находит ответа. Мудрые, как и дети, не знают. И даже не всякий сумеет спросить:

— Кто же я?

В конце мая в громадном городе уже было жарко. В узком переулке жарко и душно, еще душнее во дворе. Солнце, яркое с утра, накалило железные, буро-красные крыши четырех обставивших тесный двор пятиэтажных каменных флигелей, их грязно-желтые стены и крупные булыжники сорной мостовой. Рядом с этим домом в переулке строили новый дом, такую же безобразную громаду с претензиями на новый стиль в нелепом фасаде. Оттуда тянуло на двор горьким, жестким запахом извести и сухой кирпичной пыли.

На дворе кричали, бегали и ссорились ребяташки, дети дворника, прислуг и жильцов попроще. Двенадцатилетний Гришка, сын кухарки Аннушки из семнадцатого номера, смотрел на них из кухни, из окна четвертого этажа, на животе лежа на подоконнике и вытянув прямо свои тоненькие в коротких синих штанишках босые ноги. Мать сегодня Гришку на двор не пустила, — так, каприз нашел. Припомнила, что Гришка вчера чашку разбил. Хотя и был он за это своевременно поколочен, но сегодня Аннушка опять припомнила ему это.

— Только балуешься, — сказала она. — Нечего по двору бегать. Сиди дома. Уроки бы выучил.

— Я без экзамена, — с гордостью напомнил Гришка.

И, как всегда при воспоминании о своем школьном торжестве, радостно засмеялся. Но мать посмотрела на него сурово и сказала:

— Без экзамена, так и сиди, пока не поколочен. Чего зубы скалишь? Я бы на твоём месте никогда не улыбнулась.

Эту загадочную для Гришки фразу Аннушка любила иногда повторять. С тех пор как ее муж, портной, умер и ей пришлось жить в прислугах, она считала себя и Гришку несчастными и, думая о своем и гришкином будущем, всегда представляла себе это будущее в черном свете. Гришка перестал улыбаться, и ему стало неловко. Впрочем, идти на двор не хотелось. Он и дома не скучал. У него была еще непрочитанная книжка с картинками, и он взялся за нее. Но он читал ее недолго. Взобрался на подоконник, засмотрелся на ребят. Потом, отгоняя ощущение легкой головной боли, принялся мечтать.

Мечтать — это было любимое Гришкино занятие. Мечтал он по-разному и о разном, но всегда ставил себя в центре своих мечтаний, преображая мечтою и

себя и мир. Ложась спать, Гришка всегда принимался мечтать о чем-нибудь нежном, радостном, немножко стыдном, жутком, иногда страшном, — и засыпал очень приятно, хотя бы днем и были неприятности. Днем часто выпадают неприятности на долю мальчика, который вырастает в кухне, у бедной, раздражительной, капризной, недовольной своею судьбою матери. Чем неприятнее были неприятности, тем слаще утешала мечта. И так жутко и весело было представить что-нибудь страшное, кутаясь с головою в одеяло.

Утром, проснувшись, Гришка вставать не торопился. В том коридоре, где он спал, идущем от кухни до барыниной спальни, было темно и душно; сундук, на котором расстилалась Гришкина постель, не так был мягок, как пружинный матрац на господских кроватях, куда он иногда забирался поваляться в отсутствие господ, если мать не доглядит. Но все-таки здесь было уютно и спокойно, пока не вспомнит, что пора идти в школу, или, не в учебный день, пока не прикрикнет, чтобы вставал. А бывало это только тогда, когда надобно было послать его в лавочку или заставить что-нибудь сделать. В другое время матери было не до него, и она даже рада была, что сын спит, не надоедает, не суется под ноги, не торчит в глазах.

— И без тебя тошно, — нередко говаривала она сыну.

И потому довольно долго лежал по утрам Гришка в постели, нежась под рваным ватным одеялом, одним и тем же летом и зимою, так что летом, или когда бывало сильно натоплено в кухне, становилось ему очень жарко. И опять он мечтал о чем-нибудь приятном, радостном, веселом, но уже вовсе не страшном.

Днем всякая, самая ничтожная, причина вызывала в Гришке разнообразные мечты. Понравившийся

рассказ или интересную сказку из хрестоматии, занятную повесть из какой-нибудь растрепанной книги, одной из тех, что раз в неделю выдавал в школе заведывавший ученической библиотекою учитель, любопытный эпизод из прочитанного вслух для матери нового романа, всякий услышанный от кого-нибудь и поразивший его воображение случай переиначивал Гришка в своих мечтах по-своему.

В городском училище, куда он ходил, учиться ему было нетрудно, но учился он посредственно, — некогда было. Так о многом надо было перемечтать. Притом же, когда Аннушка была свободна, она садилась что-нибудь шить или вязать, а Гришку заставляла читать какой-нибудь роман. До романов она была большая охотница, хотя грамоте и не была обучена, любила слушать романы с приключениями, увлекалась похождениями Шерлока Холмса и Ключами Счастья, но с охотою слушала и старые романы Диккенса, Теккерея и Элиота. Романы для чтения доставала Аннушка то у своей барыни, то у барышничурсистки из четырнадцатого номера, которая зачитывалась в то время книгами Вербицкой и Нагродской. Все прочитанное Аннушка очень хорошо запоминала и любила подробно рассказывать это своим приятельницам — портнихе Даше Стальная Грудь или генеральшиной из третьего номера горничной Аманде. И вот частенько по вечерам, чинно положив локти на белый деревянный кухонный стол, прижимаясь к столу худенькою грудью в ситцевой голубенькой рубашке, скрестив под столом недостающие до полу тоненькие, как точёные веретёнца, ноги, Гришка читал быстро, громко и звонко, не всё понимая, но часто взволнованный любовными сценами. Его очень занимали опасные и трудные положения, но еще более страницы любви, ревности или нежности, слова ласковые и страстные,

муки и томления влюбленных, счастью которых мешают злые люди.

И в мечтаниях Гришке чаще всего представлялись прекрасные дамы, улыбчивые, нежные и порою жестокие, и стройные, белокурые, голубоглазые пажи. У прекрасных дам были алые уста, так нежно улыбающиеся, так сладко целующие, говорящие такие милые, а иногда такие беспощадные слова, и были у этих прекрасных дам белые, нежные руки с длинными, тонкими пальчиками, — руки нежные, но иногда такие сильные и жестокие, сулящие всю радость и всю боль, что может один человек дать другому. И у милых пажей вились длинные по плечам светлые кудри, и голубые глаза блестели, и ноги в белых шелковых чулках и в башмаках с острыми носками были полны и стройны. Слышался в мечтаниях беззаботный смех, и розы уст безмятежно цвели, и зори щек пылали ярко, — а если проливались иногда слезы, то лишь из голубых глаз милых пажей. Дамы же, прекрасные, но безжалостные, никогда не плакали; они умели только смеяться, ласкать и мучить.

Теперь уже несколько дней Гришку занимала мечта о какой-то далекой стране, волшебной, прекрасной, счастливой, и о мудрых людях, конечно, не похожих на тех людей, которых он видел здесь, в этом скучном доме, похожем на тюрьму, в этих томительных улицах и переулках и во всей этой скучной северной столице. Да и кого здесь он видел? Прекрасных и ласковых дам, как в его мечтах, здесь не было, — были барыни и барышни, важные и грубые, и были простые женщины и девушки, крикливые, сварливые, злые. Рыцарей и пажей не было тоже. Никто не носил шарф цветов своей дамы, и не слышно было, чтобы кто-нибудь сражался с великанами, защищая слабых. Господа здесь были

неприятны и далеки, грубы или презрительно-ласковы, а простые люди тоже были грубы и тоже были далеки, и простота их была так же страшна, как и хитрая, непонятная сложность господ.

Все, что видел здесь Гришка, не нравилось ему, оскорбляло его нежную душу. Даже самого имени своего он не любил. Даже когда мать, в порыве неожиданной нежности, вдруг начинала величать его Гришенькою, и тогда это ласковое имя все-таки не нравилось ему. А эта глупая кличка Гришка, как его называли всегда и мать, и барыня, и барышни, и все на дворе, казалась ему совсем чужой, никак не соединимой с тем, что он сам о себе думал; ему представлялось иногда, что она отваливается от него, как плохо наклеенный этикет от бутылки с вином.

II

Аннушке понадобилось поставить какую-то посуду на подоконник. Она захватила своею большою, жесткою рукою обе тонкие в щиколотках Гришкины ноги и потянула его с подоконника. Сказала беспричинно грубо:

— Разлегся тут на всё окно. И без тебя тесно, ничего поставить негде.

Гришка соскочил с окна. Испуганно глянул на суровое, сухощавое лицо матери, раскрасневшееся от жара кухонной печки, и на ее красные, до локтей открытые руки. В кухне было чадно, на плите что-то шипело и дымилось, пахло чем-то горелым и пригорелым. Дверь на улицу была открыта. Гришка постоял у двери и, видя, что мать возится у печки и на него не смотрит, вышел на лестницу. Только там, почувствовав под ногами жесткие, сорные плиты площадки, он заметил, что голова его болит и

кружится, сердце слегка замирает и во всем теле разливается лихорадочная томность.

”Какого чаду напустила ” — подумал он.

С каким-то недоумением оглядел он каменные серые ступеньки лестницы, выщербленные, сорные, бегущие вверх и вниз с неширокой площадки, на которой он остановился. Против их двери через площадку была другая дверь, закрытая наглухо, и из-за нее доносились два звонкие женские голоса, — кто-то с кем-то бранился. Слова сыпались, как свинцовая дробь из неосторожно развинченной висячей лампы, и казалось Гришке, что они юрко разбегаются по сухому полу чужой кухни и шуршат, ударяясь о чугун и о железо. Было много этих слов, все они сливались в один визгливый гул, и только выделялись бранные слова. Гришка невесело усмехнулся. Он знал, что в этой квартуре всегда бранятся и нередко бьют детей, злых и грязных.

Такое же окно, как на кухне, и из него виден тот же тесный, скучный мир, — красные крыши, желтые стены, пыльный двор. Всё странное, чужое, ненужное, совсем не похожее на милые близкие образы мечты.

Гришка взобрался на истертую доску подоконника, прислонился к одной из распахнутых рам, но на двор не глядел. Перед ним открылись светло украшенные палаты, и вот перед ним дверь в покой русокурой принцессы Турандины, — и распахнулась дверь, и Турандина, у высокого, узкого окна свивавшая тонкий лен, оглянулась на шум открывающейся двери, придержала стройною белою рукою гулко жужжавшую прялку и глядела на него, и улыбалась нежно. Она говорила ему:

— Подойди ко мне поближе, мой милый мальчик. Я давно тебя ждала. Не бойся, подойди.

Гриша подошел, склонил колени у ее ног, и она спросила:

— Ты знаешь, кто я?

Очарованный золотыми звонами ее голоса, отвечал ей Гришка:

— Знаю, — ты — прекрасная принцесса Турандина, дочь могущественного короля этой страны, мудрого Турандоне.

Смеялась веселая принцесса Турандина и говорила:

— Ты это знаешь, но ты знаешь не всё. От моего отца, мудрого Турандоне, я научилась чары деять и что захочу, то с тобою и сделаю. Мне захотелось поиграть с тобою, я сказала над тобою чародейные слова, и ты ушел из гордого чертога, от своего отца, — и видишь, ты забыл свое настоящее имя, и сделался кухаркиным сыном, и зовут тебя Гришкою. И ты забыл, кто ты, и не вспомнишь, пока я этого не захочу.

— Кто же я? — спросил Гришка.

Смеялась Турандина. В ее васильково-синих глазах горели недобрые огоньки, как в глазах у молодой, еще не уставшей колдовать ведьмы. Тонкие пальчики Турандины сильно сжимали Гришкино плечо. Она говорила, дразня его, тоном маленькой уличной девчонки:

— А вот не скажу! Ни за что не скажу! Догадайся сам! Не скажу! Не скажу! Не догадаешься сам — так и останешься Гришкою. Слышишь, кухарка Аннушка кличет тебя. Поди поцелуй ее ручку. Иди скорее, а не то она тебя прибьет.

III

Гришка прислушался — из кухни раздавался сильный голос матери:

— Гришка, Гришка, куда ты, пострел, запропастился?

Гришка поспешно вскочил с подоконника и бросился в кухню. Он знал, что, если мать зовет,

нельзя мешкать, — достанется. Теперь тем более, что мать всегда бывает сердита, когда готовит обед, и особенно, когда на кухне бывает чадно и угарно. Померкли светлые покои принцессы Турандины. Навстречу Гришке плыл кухонный синий дым. Гришкина голова опять сразу заболела и закружилась, и опять ему стало томно и тошно.

Мать говорила ему:

— Поворачивайся живо, беги скорее к Мильгану, купи лимонных сухарей полфунта и кекс в шесть гривен. Живо, сейчас подавать чай надо, у барыни — гости, — кого-то черт принес не вовремя.

Гришка сунулся было в коридор, достать чулки и башмаки, но Аннушка сердито крикнула:

— Ну, чего еще там! Сапоги трепать! Да и некогда, беги так, — чтобы одна нога здесь, другая там.

Гришка взял деньги серебряный рубль, зажал его в горячей руке, надел шапку и побежал вниз по лестнице. Бежал и думал:

”Кто же я? И как же это я забыл свое настоящее имя?”

Надобно было бежать далеко, за несколько улиц, потому что сухари и кекс велено было покупать не в той булочной, которая была напротив, в том же переулке, а непременно в другой, далекой. Барыня думала, что в этой булочной, которая близко, всё скверно и всё засижено мухами, а вот в той, далекой, которую она сама выбрала, всё очень хорошо и необычайно вкусно.

”Кто же я?” — настойчиво думал Гришка.

Мечты о прекрасной Турандине перебивались этим досадным вопросом. Пробегая быстрыми, легкими ногами по жестким тротуарам шумных улиц, встречаясь с чужими, обгоняя чужих, среди этого множества неприятных, грубых людей, куда-то торопящихся, толкающихся, презрительно посматривающих на голубенькую ситцевую рубаху и на

коротенькие синие штанишки, Гришка опять чувствовал странность и нелепость того, что он, мечтающий о прекрасных дамах, знающий много милых историй, живет вот именно здесь, в этом сером жестком городе, растет вот именно так, в этой чадной кухне, и всё здесь так странно и чуждо ему.

Гришка вспомнил, как несколько дней назад живущий в том же доме, в двадцать четвертом номере, капитанский сын Володя зазвал его посидеть, поболтать на лестнице у их квартиры во втором этаже противоположного флигеля. Володя был одних лет с Гришей. Он был мальчик живой и ласковый, и весело разговаривали мальчики, сидя на подоконнике. Вдруг открылась дверь, и Володина мама, кислая капитанша, показалась на пороге. Щурясь, она оглядела с головы до ног струсившего Гришку. Протянула презрительно: — Что такое, Володя? Что тебе за компания этот босоногий мальчишка? Отправляйся в комнаты и вперед не смей с ним знаться.

Володя покраснел, заговорил было что-то, — но Гришка побежал к себе, в кухню.

Теперь, на улице, он думал:

”Не может быть, что всё это так. Не может быть, что я в самом деле просто Гришка, кухаркин сын, и что со мною нельзя знаться хорошим мальчиком, капитанским и генеральским сыновьям”.

И в булочной, той, далекой, покупая то, что ему велели купить и чего ему не дадут есть, и на обратном пути Гришка то принимался мечтать о прекрасной Турандине, мудрой и жестокой, то опять возвращался к странной действительности, окружавшей его, и думал:

”Кто же я? И как же мое настоящее имя?”

Мечтал, что он — царский сын, что гордый чертог его предков стоит в стране прекрасной и далекой. Он

заболел тяжелым недугом давно и лежит в своей тихой опочивальне, под золотым своим балдахинем, на мягкой пуховой постели, покрытый легким атласным покрывалом, и бредит, воображая себя кухаркиным сыном Гришкою. Открыты настежь окна его опочивальни, доносится иногда к больному сладкий дух цветущих роз, и голос влюбленного соловья, и плеск жемчужного фонтана. А у изголовья постели сидит его мать, царица, и плачет, и ласкает своего сына. Глаза у царицы ласковы и печальны, и руки ее нежны, потому что она не стряпает, не шьет и не стирает. Если и делает что милая мама-царица, так только вышивает цветным шелком по золотой канве атласную подушку, и из-под ее нежных пальцев выходят алые розы, и белые лилии, и павлины с длинными, глазастыми хвостами. И плачет мама-царица о том, что милый сын ее тяжело болен, что он, открывая порою мутные от болезни глаза, говорит непонятное что-то странными словами.

Но настанет день, и очнется сын царицы, и встанет со своего роскошного ложа, вспомнит, кто он и как его зовут в родной стране, и засмеется.

IV

Радостно стало Гришке, когда он домечтал до этого. Он побежал еще быстрее. Ничего не замечал вокруг себя. Вдруг неожиданный толчок заставил его опомниться. Он испугался прежде, чем успел понять, что с ним случилось.

Мешок с покупками из рук его выпал, тонкая бумага разорвалась, и желтые лимонные сухарики рассыпались по избитым, засоренным серым плитам тротуара.

— Скверный мальчишка, как ты смеешь толкаться! — визгливо крикнула на Гришку высокая, полная дама, на которую он набежал.

От нее пахло противными духами, к ее сердитым маленьким глазам был приставлен противный черепаховый лорнет. Всё лицо ее было противное, грубое, сердитое и наводило на Гришку страх и тоску. Гришка испуганно смотрел на барыню и не знал, что делать. Ему казалось, что уже дворники и городовые, страшные фантастические существа, идут со всех сторон и вот-вот схватят его и потащат куда-то.

Шедший рядом с барыней молодой человек, слишком щегольски одетый, в цилиндре, в перчатках противного желтого цвета, смотрел на Гришку разъяренными, вытаращенными глазами, — и весь он был красный и злой.

— Хулиганишка негодный! — процедил он сквозь зубы.

Небрежным движением сбил с Гришки шапку, больно подергал его за ухо, отвернулся и сказал барыне:

— Пойдемте, мамаша. С этою дрянью не стоит связываться.

— Но какой дерзкий мальчишка, — шипела барыня, отворачиваясь. — Грязный оборвыш, туда же толкаться! Это прямо возмутительно! По улицам спокойно идти нельзя! Чего полиция смотрит?

Барыня и молодой человек, сердито переговариваясь, пошли прочь. Гришка поднял свою шапку, подобрал и запихал кое-как в лохмотья бумажного мешка рассыпавшиеся лимонно-желтые сухарики и побежал домой. Ему было стыдно и плакать хотелось, но он не заплакал. Уже не мечтал о Турандине и думал:

”Она такая же злая, как и все здешние люди. Она навела на меня страшный сон и никогда мне не проснуться от этого сна, и не вспомнить мне вовеки

моего настоящего имени. И не узнаю никогда взаправду, кто же я”.

Кто же я, посланный в мир неведомою волею для неведомой цели? Если я — раб, то откуда же у меня сила судить и осуждать и откуда мои надменные замыслы? Если же я — более чем раб, то отчего мир вокруг меня лежит во зле, безобразный и лживый? Кто же я?

Смеется над бедным Гришкою, и над его мечтами, и над его тщетными вопросами жестокая, но всё же прекрасная Турандина.

1912

ГОЛОДНЫЙ БЛЕСК

Сергей Матвеевич Мошкин пообедал сегодня очень хорошо, — сравнительно, конечно, — как ему, сельскому учителю, лишившемуся места и уже с год околачивающемуся по чужим лестницам в поисках работы, и не к лицу было бы. А все-таки голодный блеск сохранялся в его глазах, грустных и черных, и придавал его худощавому, смуглому лицу выражение какой-то неожиданной значительности. Мошкин истратил на обед последнюю трехрублевку, и теперь в его карманах брэнчало только несколько медяков, да в кошельке лежал истертый пятиалтынный. Пировал он на радостях. Хотя и знал, что глупо радоваться, и рано, и нечему. Но так наискался работы и так прожился, что и призрак надежды радовал.

На днях Мошкин поместил в “Новом Времени” объявление. Он рекламировал себя как педагога, владеющего пером, — на том основании, что корреспондировал в местную приволжскую газету. За

это он и слетел с места: доискались, кто писал злые корреспонденции в "левую" газету; земский начальник обратил внимание инспектора народных училищ, а инспектор, конечно, не потерпел.

— Нам таких не надо, — сказал ему инспектор при личном объяснении.

Мошкин спросил:

— А каких же вам надо?

Но инспектор, не отвечая на неуместный вопрос, сухо сказал:

— Прощайте, до свидания. Надеюсь увидеться на том свете...

Дальше в своем объявлении Мошкин заявляет, что хочет быть секретарем, постоянным сотрудником газеты, репетитором, воспитателем, сопровождать на Кавказ или в Крым, быть полезным в доме и т.п. Уверял, что не имеет претензий и что не стесняется расстоянием.

Ждал. Пришла одна открытка. Странно, что с ней у него вдруг связались какие-то надежды.

Это было утром. Мошкин пил чай. Вошла сама хозяйка. Сверкнула черными змеиными глазками и сказала язвительно:

— Корреспонденция Сергею Матвеевичу господину Мошкину.

И, пока он читал, гладила свои черные над желтым треугольником лба волосы и шипела:

— Чем письма получать, платил бы деньги за стол, за комнату. Письмом сыт не будешь, а ты в люди походи, поищи, не боронься на испанский фасон.

Читал:

"Будьте любезны пожаловать для переговоров от 6 до 7 вечера, 6 рта, д. 78, кв. 57".

Без подписи.

Злобно глянул Мошкин на хозяйку. Она стояла у двери, прямая, широкая, с опущенными руками,

спокойная, как кукла, и холодно-злая, и прямо на него смотрела неподвижными наводящими жуть глазами.

Мошкин крикнул:

— Баста!

Стукнул кулаком по столу. Встал. Заходил по комнате взад-вперед. И всё твердил:

— Баста!

Хозяйка тихо и злобно спрашивала:

— Платить-то будешь, корреспондент казанский и астраханский? а? сознательная твоя харя?

Мошкин остановился перед ней, протянул к ней пустую ладонь и сказал:

— Всё, что имею.

Умолчал о последней трехрублевке. Хозяйка шипела:

— Я тебе не гусарская офицерша, мне деньги надобны. Дрова семь целковых, откуда я возьму? Сам себя не прокормишь, — заведи платящую возда-торшу. Ты — молодой человек со способностями, и наружность у тебя достаточно восхитительная. Какая ни есть дура найдется. А мне разве возможно? Куда ни вертыхнись, деньги вынь да положи. Дунь — руб, плюнь — руб, поколей — полтора.

Мошкин приостановился. Сказал:

— Не беспокойтесь, Прасковья Петровна, сегодня вечером получаю место и рассчитаюсь.

И опять принялся ходить, шлепая туфлями.

Еще долго хозяйка шипела, торча у двери. Наконец ушла, крикнув:

— У меня стальная грудь! Другая бы иная на моем месте давно бы глаза под лоб закатали, сказала бы: живите без меня, околачивайтесь, как знаете, а я вам не крепостная.

Ушла, и в памяти осталась ее странная фигура, прямая, с опущенными руками, с желтым широким

треугольником лба под черными, гладко примасленными волосами, с усеченным узким треугольником затасканной желтой юбки, с крохотным треугольником красного нюхающего носа. Три треугольника.

Весь день Мошкин был голоден, весел и зол. Ходил без цели по улицам. Засматривался на девушек, и все они казались ему милыми, веселыми и доступными — доступными для богатых. Остановливался перед окнами магазинов, где выставлены дорогие вещи. Всё острее становился голодный блеск в глазах.

Купил газету. Прочел ее на скамейке в сквере, где смеялись и бегали дети, где модничали няньки, где пахло пылью и чахлыми деревьями, — и запах улицы и сада неприятно смешивался и напоминал запах гуттаперчи. В газете поразил Мошкина рассказ об истушленном, голодающем безумце, который в музее изрезал картину знаменитого художника.

— Вот это я понимаю!

Мошкин зашагал по аллее. Повторял:

— Вот это я понимаю!

И потом, ходя по улицам, смотря на великолепные громады богатых домов, на выставленную роскошь магазинов, на элегантные наряды прогуливающихся господ и дам, на быстро проносящиеся экипажи, и на всю эту красоту и утешительность жизни, доступные для всякого, у кого есть деньги, и недоступные для него, — рассматривая, наблюдая, завидуя, испытывал всё более определяющееся чувство разрушительной ненависти. И повторялись в уме всё те же слова:

— Вот это я понимаю!

Подошел к толстому, ленивому и важному швейцару. Крикнул:

— Вот это я понимаю!

Швейцар молча и презрительно покосился на него. Мошкин радостно захихикал. Сказал:

— Молодцы анархисты!

— Проваливай! — сердито крикнул швейцар. — Не проедайся.

Мошкин отошел. Вдруг стало страшно. Городовой стоял близко. Так резко выделялись его белые перчатки. Досадливо думал Мошкин:

”Вот бы бомбу сюда”.

Швейцар сердито сплюнул вслед ему и отвернулся.

Мошкин долго ходил. В шестом часу зашел в ресторан среднего разбора. Сел к столу близ окна. Выпил водки, закусил анчоусами. Взял обед в семьдесят пять копеек. Пил ”Шабли во льду”. После обеда выпил ликеру. Слегка охмелел. Под звуки органа кружилась голова. Сдачи не взял. Ушел, слегка покачиваясь, и почтительно провожаемый швейцаром, — и швейцару сунул в руку двугривенный.

Посмотрел на свои никелированные часы, — был седьмой вначале. Пора. Как бы не опоздать! Не наняли бы другого! Стремительно пошагал в Измайловский полк.

Очень мешали:

разрытые мостовые;

оголтелые, вечно сонные извозчики на переходах через улицу;

прохожие, в особенности мужики и дамы;

встречные или не сторонились вовсе, или сторонились чаще влево, чем вправо, —

а те, кого приходилось обгонять, зачем-то шатались по тротуару, и не угадать было сразу, с какой стороны обгонять их;

нищие, — они к нему не приставали, —

и самый механизм хождения.

Так трудно одолевать пространство и время, когда торопишься! Земля точно присасывается к себе, каждый шаг покупаешь усилием и усталостью. До боли и

ломоты в икрах. От этого возрастала злоба и усиливался голодный блеск в глазах.

Мошкин думал:

”Тарарахнуть бы всё это к черту! Ко всем чертям!”

Наконец добрался.

Вот рота, а вот и дом №78. Дом четырехэтажный, обшарпанный, два подъезда, мрачные с виду; посередине — разинутая пасть ворот. Посмотрел таблички над подъездами, — первые номера, а №57 нет, никого не видно. У ворот белая пуговка, и над нею на медяшке заросшая грязью надпись ”к дворнику”.

Нажал пуговку и вошел в пасть, поискать табличку жильцов. Но прежде чем достиг таблицы, уже навстречу ему шел дворник, очень внушительного вида и с черной бородой.

— А где квартира пятьдесят семь?

Мошкин спрашивал с небрежной манерой, заимствованного от того земского начальника, из-за которого ”слетел” с места. Знал уже по опыту, что с дворниками надо говорить так-то и нельзя говорить вот так-то. Скитания по чужим подворотням и лестницам тоже придают человеку известный лоск.

Дворник спросил несколько подозрительно:

— А вам кого?

С простодушной небрежностью, растягивая слова, Мошкин отвечал:

— А я сам не знаю. Я по объявлению. Получил письмо, а кто пишет, не написано. Только адрес написали. Кто же там живет, в номере пятьдесят семь?

— Госпожа Энгельгардова, — сказал дворник.

— Энгельгардт? — переспросил Мошкин.

Дворник повторил:

— Энгельгардова.

Мошкин усмехнулся:

— Русификация?

— Елена Петровна, — отвечал дворник.

— Чертова перечница? — почему-то спросил Мошкин.

Дворник ухмыльнулся,

— Нет-с, молодая барышня. По парадному пожалуйста, из ворот направо.

— Да там над дверями табличка, только первые номера, — сказал Мошкин.

Дворник говорил:

— Нет, там и пятьдесят семь. В самом низу.

Мошкин спрашивал:

— А чем она занимается? Есть у них какое-нибудь заведение? Школа? Или редакция?

Нет; оказалось, у госпожи Энгельгардовой не было ни школы, ни редакции.

— Живут своим капиталом, — пояснил дворник.

В квартире госпожи Энгельгардовой горничная очень деревенского вида провела его в гостиную направо от темной передней и просила подождать.

Ждал. Скучал и томился. Рассматривал вещи. Было нагромождено много мебели, — кресла, столы, стулья, ширмы, экраны, этажерки, столбики, на них бюсты, лампы, безделушки, на стенах зеркала, картины, литографии, часы, на окнах занавески, цветы. От всего этого было тесно, душно, темно. Мошкин шагал в тесноте по коврам. Со злобой смотрел на картины, на статуи.

”Тарарахнуть бы всё это к черту! Ко всем чертям!” — думал Мошкин.

Но, когда хозяйка вдруг вошла, он спрятал свой голодный блеск, опустил глаза.

Она была молодая, румяная, высокая и, кажется, красивая. Шагала она быстро и решительно, как хозяйка в деревне, и при этом неловко помахивала

сильными, красивыми, белыми, голыми выше локтя, руками.

Подошла. Подала руку, — полуввысоко, — хочешь, пожми, хочешь, поцелуй. Поцеловал. Нарочно, — со злости и для шутки. Быстро, громко чмокнул и зубом царапнул, — аж дрогнула. Но ничего не сказала. Подошла к дивану. Залезла за стол, засела на диван, а ему показала на кресло. Сел. Спросила:

— Это ваше объявление было вчера?

Буркнул:

— Мое.

Подумал и сказал повежливее:

— Мое-с.

И стало досадно. И опять подумал:

”Тарарахнуть бы”.

Говорила, — спрашивала, что он может, где он учился, где работал. Так осторожненько подходила, точно боялась раньше времени проговориться и надавать больше.

Оказалось, что хочет издавать журнал. Какой? Еще не решила. Какой-нибудь. Маленький. Ведет переговоры о покупке одного издания. О направлении журнала умолчала.

Оя ей может понадобиться для конторы. Но так как в объявлении сказано — педагог, — то она думала, что он учил в гимназии. Впрочем, если он может вести конторские книги...

Принимать подписку...

Вести переписку по делам конторы и редакции...

Получать деньги с почты...

Заделывать номера в бандероли...

Сдавать их на почту...

Держать корректуру...

Еще что-то...

И еще что-то...

Барышня говорила с полчаса. Довольно бестолково перечисляла разные обязанности.

— Для этих дел надо несколько человек, — сурово сказал Мошкин.

Барышня досадливо покраснела. По ее лицу пробежали жадные гримаски. Она сказала:

— Журнал маленький. Специальный. Для такого маленького предприятия если взять несколько, то им нечего будет делать.

Усмехнулся. Согласился.

— Пожалуй, что и так. У вас не соскучишься.

Спросил:

— А сколько времени я у вас буду занят ежедневно?

— Ну, часов с девяти утра, — это не поздно? — часов до семи вечера, — это не рано? Иногда, если спешная работа, можно и позже посидеть или прийти в праздник, — ведь свободны?

— Сколько же вы думаете платить?

— Рублей восемнадцать в месяц вам будет достаточно?

Подумал. Засмеялся.

— Мало-с.

— Больше двадцати двух не могу.

— Хорошо-с.

И с внезапным порывом злости встал, сунул руку в карман, вытащил оттуда ключ от своей квартиры и тихо, но решительно сказал: — Руки вверх!

— Ах! — произнесла барышня и немедленно же подняла руки.

Она сидела на диване, очень бледная. Дрожала. Она была большая и сильная. А он — маленький и тощий.

Рукава ее одежды отвисли к плечам, и две протянутые вверх белые, голые руки казались толстыми, как ноги акробатки, упражняющейся дома. И видно было, что у нее хватит силы долго держать

руки вверх. И сквозь испуг на ее лице пробивалось выражение значительности переживаемого.

Наслаждаясь ее смущением, Мошкин произнес медленно и внушительно:

— Только двинься! Только пикни!

Подошел к картине.

— Сколько стоит?

— Двести двадцать, без рамы, — дрожащим голосом произнесла барышня.

Порвался в кармане, достал перочинный нож. Разрезал картину сверху вниз и справа налево.

— Ах! — вскрикнула барышня.

Подошел к мраморной головке.

— Что стоит?

— Триста.

Ключом отбил ухо, оббил нос, щеки пооббил. Барышня тихонько ахала. И приятно было слушать ее тихое аханье.

Порвал еще несколько картин, порезал обивку кресел, сломал несколько хрупких вещичек.

Подошел к барышне. Крикнул:

— Лезь под диван!

Исполнила.

— Лежи смирно, пока не придут. Не то бомбой тарарахну.

Ушел. Никого не встретил ни в передней, ни на лестнице.

У ворот стоял тот же дворник. Мошкин подошел к нему. Сказал:

— Что у вас барышня-то странная какая?

— А что?

— Да нехорошо себя ведет. Скандалит очень. Вы бы к ней пошли.

— Коли они не зовут, как же я могу?

— Ну, как знаете.

Ушел. Голодный блеск в его глазах тускнел.

Мошкин долго ходил по улицам. Тупо и медленно вспоминал эту гостиную, и разрезанные картины, и барышню под диваном.

Тусклые воды канала манили к себе. Скользящий свет заходящего солнца делал их поверхность красивой и печальной, как музыка безумного композитора. Такие были жесткие плиты набережной, и такие пыльные камни мостовой, и такие глупые и грязные шти навстречу дсти! Всё было замкнуто и враждебно.

А зеленовато-золотистая вода канала манила.

И погас, погас голодный блеск в глазах.

Так звучен был мгновенный всплеск воды.

И побежали, кольцо за кольцом, матово-черные кольца, разрезая зеленовато-золотистые воды канала.

1907





ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ МЕРЕЖКОВСКИЙ (1866—1941)

Проза Д.С. Мережковского развивает религиозно-философские представления о мировой истории как арене борьбы между двумя началами — религией духа и религией плоти (христианства и язычества). Трилогия "Христос и Антихрист" в разные исторические эпохи, которые автор считает кульминационными, освещает высшие точки столкновения Христа и Антихриста. Мережковский — автор еще двух трилогий: "Царство зверя", посвященной русской жизни, и трилогии под условно объединительным заголовком "Отец и сын". Им написан целый ряд произведений, жанр которых не всегда четко определим: традиционный роман в сочетании с беллетризованной документальной прозой или даже историко-философским трактатом. Его перу принадлежат стихи и новеллы в стиле эпохи Возрождения.

Обращенное к далекому историческому времени воображение Мережковского находит точный и меткий внешний образ, умеет художественно его использовать. Его "Итальянские новеллы", например, доносят сам дух эпохи: через описания, емкие и точные, лица героев, их поведение, манеру говорить... При этом, как отмечал критик Иван Ильин, "психология, психика, целостный организм души совсем не интересуют Мережковского: он художник внешних декораций и нисколько не художник души".

”Он был очень далек от типа русского писателя, очень часто встречающегося... — замечала, в свою очередь, З. Гиппиус. — Ко всякой задуманной работе он относился с серьезностью, я бы сказала, ученого. Он исследовал предмет, свою тему, со всей возможной широтой, и эрудиция его довольно замечательна...”

НАУКА ЛЮБВИ

(Из цикла ”Итальянские новеллы”)

Мессер Фабрицио, один из самых ученых профессоров Болонского университета, читал диалектику, в которой он обладал столь дивным искусством, что его называли ”царем силлогизмов”. Но не одна диалектика, а весь круг человеческих знаний, *trivium ut quadrivium*¹, был у мессера Фабрицио, как на ладони. И замечательнее всего, что ученый муж не только в предметах важных, но и по поводу самых ничтожных житейских мелочей обнаруживал бездну премудрости. Студенты рассказывали, что однажды, когда ему надо было поставить на письме адрес: в Падую, на Винную площадь, в аптеку Луны, — мессер Фабрицио по рассеянности написал: *nella città Antenorea, in sul forodi Вассо, all' aromataria della Dea triforme*, то есть в город Антенора, на форум Вакха, в ароматорию Богини Трёхликой. Так много и прекрасно говорил он на языке Туллия², что отчасти забыл язык своей матери, чем не сокрушался, ибо находил его ниже своего достоинства, и, будучи в дурном расположении

¹ *Trivium* — цикл из трех наук: грамматики, диалектики и риторики; *quadrivium* — цикл из четырех наук: арифметики, музыки, геометрии и астрономии (лат.).

² На языке Марка Туллия Цицерона, то есть по-латыни.

духа, выражал мнение, что "Божественная комедия" Данте в нынешний век истинного циничного красноречия пригодна разве к тому, чтобы служить оберточной бумагой в колбасных лавках. Зато, когда мессер Фабрицио объяснял, как должно писать слово *consumptum*¹ — с *r* или без *r*, — перед очами изумленных слушателей открывался такой кладезь учености, что самые легкомысленные и невежественные люди чувствовали трепет благоговейного ужаса.

Мессер Фабрицио был мал, хил и слаб, так как тело его было истощено непрерывными и чрезмерными занятиями, но лицо имел важное и строгое, взор глубокомысленный, брови густые и нахмуренные, походку величественную, и никто не умел с большим достоинством носить малиновую профессорскую пелерину, подбитую заячьим мехом, и громадную шляпу, похожую на тот вкусный пирог с вареньем, который хозяйки пекут детям накануне Иванова дня.

В это время в Болонском университете изучали — один каноническое, другой гражданское право — двое знатных и богатых молодых людей из Рима, принадлежавших к благородному дому Савелли, закадычные друзья и приятели. Одного звали Буччоло, другого Пьетро Паоло. И так как всем известно, что каноническое право по объему меньше гражданского, то Буччоло, изучавший церковное право, кончил свои занятия ранее, чем Пьетро Паоло. Сделавшись лицензиатом², решил он вернуться домой — и так сказал своему товарищу:

— Любезный Пьетро, я имею лицензиат и намерен возвратиться на родину.

¹ От лат. *consumere* — расходовать.

² Лицензиат — допущенный (лат.) — первая ученая степень в ряде стран Западной Европы.

Пьетро возразил:

— Прошу тебя, не покидай меня здесь, на чужбине, одного. Пережди зиму. К весне я кончу, и мы можем ехать вместе. А пока, чтобы не терять времени, выбери себе какую-нибудь науку по сердцу и займись.

Буччоло согласился, обещал подождать друга, пошел к своему профессору, мессеру Фабрицио, и молвил так:

— Я решил обождать моего двоюродного брата и прошу вас, маэстро, тем временем преподать мне какую-нибудь еще другую прекрасную науку.

— Хорошо, — ответил маэстро, — выбери себе, какую пожелаешь, я охотно с тобой займусь.

Тогда Буччоло сказал:

— Маэстро, ежели будет на то согласие вашей милости, я желал бы изучить науку любви.

Мессер Фабрицио, услышав такую просьбу, нахмурил брови, собираясь так намылить голову дерзкому мальчишке, чтобы у него навсегда прошла охота шутить с профессорами; но, взглянув на Буччоло, он увидел столь нежное и розовое лицо, столь простодушный и доверчивый взор, такую скромную и почтительную улыбку, что латинское ругательство замерло на его губах, ему вспомнилось что-то старое, приятное и веселое, не относившееся ни к силлогизмам, ни к грамматике Присциана и Доната¹; он тоже улыбнулся и ответил ученику:

— Отлично. Ты не мог выбрать науку, которая была бы более мне по сердцу. Итак, ступай в следующее воскресенье в церковь миноритов, к заутрене, когда туда собираются женщины со всего города, и поищи, не найдешь ли такой, которая тебе понравится. Если найдешь, следуй за ней издалека, пока не

¹Присциан — римский грамматик VI в. Донат — римский грамматик и ритор IV в.

узнаешь, где она живет, потом возвращайся ко мне. Вот тебе первый урок, исполни его в точности.

Буччоло сделал так, как научил его маэстро. Пошел в церковь и стал внимательно рассматривать лица женщин, которых туда собралось немало.

Более всех ему понравилась одна дама, одаренная лукавою и нежною прелестью. Когда она вышла из церкви, Буччоло последовал за нею, заметил дом, в котором она жила, из чего дама заключила, что студент намерен ухаживать за нею.

Потом вернулся к маэстро и сказал:

— Я исполнил первый урок и нашел даму, которая мне нравится.

Мессеру Фабрицио всё это казалось презабавным, ибо втайне он подсмеивался над простодушным Буччоло и наукою, которой он желал учиться.

С видом важным и глубокомысленным молвил он:

— Теперь следует тебе раза два или три в течение дня пройтись перед ее окнами — только держи себя скромно и прилично. Смотри на нее украдкой, так, чтобы никто не заметил, и только дама могла понять, что ты в нее влюблен. Потом возвращайся ко мне. Это — второй урок.

Буччоло простился с учителем, пошел на улицу, где жила его возлюбленная, и начал прохаживаться перед домом, соблюдая благоразумную осторожность, но всё же так, чтобы она могла заметить, что он делает это ради нее. Дама увидела его. Буччоло несколько раз поклонился ей с изысканной вежливостью. Она ответила ему поклоном, из чего он заключил, что она к нему благосклонна. Тотчас же пошел он и сообщил об этом учителю, который, выслушав его, сказал:

— Прекрасно. Я тобою доволен. До сих пор всё идет как по маслу. Теперь ты должен ей подослать одну из

уличных разносчиц, которые торгуют в Болонье кружевом, кошельками, лентами и другим модным товаром. Вели передать своей даме, что ты во всем, чего бы она ни пожелала, готов ей служить, что никого на земле не любишь более, чем ее, что отныне ты намерен быть ей верным рабом. Подожди ответа, потом возвращайся ко мне: я научу тебя, что следует делать далее.

Буччоло пошел, не тратя времени, отыскал услужливую старую женщину, весьма опытную в делах подобного рода, и молвил:

— Вы можете оказать мне большую услугу. Я заплачу так, что вы останетесь довольны.

Разносчица ответила:

— Я сделаю всё, что вам угодно, ибо живу трудами рук моих, как честная женщина.

Тогда Буччоло дал ей два флорина и сказал:

— Прошу вас, сходите на улицу Маскарелла, где живет молодая женщина по имени Джованна, в которую я влюблен. Передайте ей, что я — верный раб ее и готов исполнить всякое ее желание. Выразите всё это самыми нежными и уветливыми словами, какие сумеете придумать.

Старуха ответила:

— Уж знаю, знаю. С помощью Господа Бога и Пресвятой Марии Девы мы так обделаем это дельце, что вы будете довольны, еще другой раз придете ко мне. Главное — выбрать подходящее время, уж об этом предоставьте мне позаботиться.

— Ступайте же, — молвил Буччоло, — я подожду здесь.

Разносчица отправилась с корзиною товара на улицу Маскарелла, увидала мадонну Джованну, сидевшую у двери, поздоровалась и сказала:

— Мадонна, не приглянется ли вам что-нибудь из моего товара. Берите смело всё, что понравится.

Старуха подсела к ней и начала показывать ленты, кисею, кошельки, пояса, ножницы, зеракла и тому подобные вещи. Джованна долго рассматривала, наконец, понравился ей один кошелек, и она сказала:

— Если бы у меня были деньги, я охотно купила бы этот кошелек.

Старуха возразила:

— Мадонна, стоит ли заботиться о таких пустяках. Говорю вам, берите из моего хлама всё, что понравится. Мне уже заплачено. Дама удивилась и, желая объяснить любезность старухи, спросила:

— Что вы хотите сказать, добрая женщина? Что значат эти слова?

Тогда разнощица повела свою речь тихим голосом:

— Сейчас я вам всё объясню, мадонна. Один юноша, по имени Буччоло, послал меня к вам. Он любит вас и предан вам всею душою. Нет, говорит, на свете такого трудного и опасного дела, которого я бы не предпринял с радостью, чтобы заслужить любовь моей дамы. Господь Бог, говорит, не мог бы оказать мне большей милости, чем если бы ей угодно было повелеть мне что-нибудь. А сам так и плачет, заливаясь, как свеча тает от любви к вам. Да не услышит в смертный час молитвы моей Царица Небесная, да разразит меня гром на этом месте, ежели я в чем-нибудь солгала и когда-либо в моей жизни видела более прекрасного и благородного юношу!

Когда Джованна услышала эти слова, лицо ее вспыхнуло.

— О, если бы только язык мой не удерживала скромность, я ответила бы тебе так, как ты этого заслуживаешь, старая ведьма! Смеешь ли ты с таким предложением являться к честной женщине! Да накажет тебя Господь!

И, молвив так, вынула из петель двери деревянный шест, служивший запором, и хотела ее ударить.

Старуха забрала в охапку свой товар, убежала и не прежде почувствовала себя в безопасности, чем вернулась к Буччоло.

— Ну что, как? — спросил он, увидев ее.

— Да что, плохо, свет мой, так плохо, что хуже нельзя. Никогда еще во всю мою жизнь не терпела я такого срама. Если бы поскорей не утекла, пришлось бы старым костям моим отведать палки. Не знаю, как вы, мессер Буччоло, но что до меня, то ни за какие деньги я больше к ней не пойду, да и вам не советую.

Буччоло весьма огорчился, немедленно пошел к своему учителю и поведал ему всё, что случилось.

Мессер Фабрицио утешил его и сказал:

— Успокойся, Буччоло. Ни одно дерево не валится с первого удара. Пройдись-ка еще раз под ее окнами, увидим, какое лицо она сделает. Потом опять приходи ко мне.

Буччоло собрался и пошел к дому своей возлюбленной. Только что она увидела, как позвала служанку и приказала:

— Улива, ступай, видишь, за этим юношей и скажи от моего имени, чтобы он непременно приходил ко мне сегодня вечером.

Улива подошла к нему и молвила:

— Мессер, мадонна Джованна очень просит вас пожаловать к ней сегодня вечером, так как она желает с вами говорить.

Буччоло не знал, что подумать. Тем не менее ответил:

— Хорошо. Передай твоей госпоже, что я с радостью приду.

Затем поскорее вернулся к Фабрицио. Профессор тоже удивился и спросил:

— На какой улице живет твоя дама?

— На улице Маскарелла.

— А как имя служанки?

— Не знаю. Она такая высокая, худая, черная, хромает на левую ногу...

— Клянусь Геркулесом, — Улива! — пролепетал себе под нос профессор, краснея, как рак.

— Что вы хотели сказать, маэстро? — спросил Буччоло.

Мессеру Фабрицио казалось, что пол уходит у него из-под ног и лицо Буччоло двоится. Не чувствуя достаточно силы, чтобы перенести последний удар, и боясь, чтобы Буччоло не назвал ему мадонны Джованны, его собственной жены, он не решился спросить имени дамы. В течение зимних месяцев профессор ночевал в здании университета, чтобы иметь возможность читать лекции студентам и в ночные часы, так что мадонна Джованна оставалась в доме одна со служанкой.

— Ты пойдешь на свидание, Буччоло?

— Конечно.

— Прошу тебя, зайди ко мне и скажи, когда соберешься.

Буччоло молвил: "Хорошо!" и удалился. Маэстро заключил по его виду и словам, что он ничего не подозревает.

"Я не желаю, — подумал мессер Фабрицио, — чтобы он учился этой науке на мой счет".

Вечером пришел Буччоло.

— Маэстро, мне пора.

— Ступай и будь осторожен.

— О, вы можете на меня положиться.

На груди имел он толстый панцырь, острый меч под мышкой и длинный кинжал при бедре, — словом, принял все предосторожности. Когда он вышел, мессер Фабрицио последовал за ним, тихонько, так, что Буччоло не заметил. Он подошел к двери своей

дамы, и только что постучался, она отперла и впустила его. Профессор, убедившись собственными глазами, что возлюбленная Буччоло — мадонна Джованна, его жена, пришел в неописуемую ярость.

— Клянусь Минервою, теперь уже нет никакого сомнения, что он учится на мой счет.

Мессер Фабрицио побежал назад в здание университета, взял меч, кинжал и вернулся на улицу Маскарелла, намереваясь захватить врасплох Буччоло. Подойдя к двери своего дома, начал он стучаться. А мадонна Джованна тем временем сидела со своим возлюбленным у очага и, услышав звук, догадалась, что это мессер Фабрицио, взяла Буччоло за руку, повела в соседнюю комнату и спрятала под грудой мокрого белья, лежавшего на столе у окна. Потом побежала к двери и спросила: "Кто там?"

Маэстро кричал:

— Отопри, отопри же, негодная!

Джованна отперла и, увидев профессора вооруженным, воскликнула:

— Ай! Ай! Что это значит, мессер Фабрицио?

Он не унимался и вопил еще громче:

— Клянусь Аполлоном, я знаю, кто в моем доме.

— О, я несчастная, — воскликнула Джованна, — что вы говорите? В своем ли вы уме? Обыщите весь дом и если кого-нибудь найдете, пусть меня четвертуют. Какой стыд, какой стыд, Боже мой! Стоит быть верной женой. Расспросите соседей, они могут кое-что рассказать о моей скромности и добродетели. Еще недавно сюда приходила старуха... Но зачем говорить?.. Ежели вам померещилось недоброе, оградите себя крестом и молитвой от наваждения лукавого, который ищет погубить вашу душу.

Маэстро велел зажечь свечу и начал искать в погребе между бочками, потом вышел в комнаты, обшарил их, посмотрел под кроватью, проколол мечом

соломенный матрац в различных местах, — словом, — не оставил в доме мышиной норы необысканной, но Буччоло не нашел. Мадонна Джованна ходила за ним со свечой в руках и повторяла:

— Дорогой маэстро, опомнитесь, сотворите же крестное знамение, ибо теперь я вижу, что враг Божий искушает вас, и вам померещилось такое, что стыдно сказать; знайте, что если бы хоть один волос на моей голове пожелал чего-нибудь подобного, то я наложила бы на себя руки. Маэстро, заклинаю вас именем Бога, не поддавайтесь наваждению лукавого!

Не находя Буччоло и слыша непрерывные увещания супруги, мессер Фабрицио почти поверил ей, задул свечу и вернулся в школу. А мадонна Джованна тотчас заперла дверь на задвижку, вытащила возлюбленного из-под белья, развела яркий огонь в очаге, на котором зажарила молочного поросенка, и принесла из погреба различных вин. Они стали пить, есть, веселиться и во взаимных ласках провели ночь. Когда же наступило утро, Буччоло сказал:

— Мадонна, я должен проститься с вами. Не будет ли вашей милости угодно приказать мне что-нибудь?

— О да, — молвила она, обнимая и целуя его с нежностью, — моей милости угодно, чтобы ты пришел ко мне сегодня вечером.

Буччоло обещал прийти, вернулся в школу и молвил учителю:

— Я имею нечто рассказать, что вас позабавит.

— Говори. Я слушаю.

— Вчера вечером, — произнес Буччоло, — когда я был в доме моей возлюбленной, вдруг приходит муж, обыскивает весь дом и ничего не находит. Она спрятала меня под кучей мокрого белья и так ловко умела обойти его, что глупый поверил и ушел. А мы остались с ней наедине, поужинали молочным

поросенком, отведали множество тонких вин, и могут вас уверить маэстро, что нам было превесело и что эта наука любви кажется мне самой любезной и забавной из всех наук, так что, по моему разумению, никакая другая не может с нею сравниться. Право, я уж и не знаю, как вас благодарить, дорогой учитель!.. А теперь, с вашего позволения, я пойду немного отдохнуть, так как мало спал эту ночь и обещал сегодня вечером прийти к ней опять.

Мессер Фабрицио молвил:

— Когда соберешься, зайди ко мне и скажи.

— С удовольствием, — ответил Буччоло и пошел спать.

Профессор был вне себя от ярости; пробовал читать лекцию, но вместо силлогизмов у него выходили такие глупости, что он поскорее сошел с кафедры, сказавшись больным. Сердце его пожирала ревность, и весь день он мечтал о том, как поймает Буччоло и накажет его. У старого ландскнехта, имевшего оружейную лавочку в соседнем переулке, взял он напрокат заржавленный панцырь и допотопный шлем с забралом. Когда наступил вечер, к мессеру Фабрицио пришел беззаботный Буччоло и объявил:

— Я иду.

— Ступай, ступай, — возразил маэстро, — да не забудь прийти ко мне завтра утром рассказать, что с тобой случится.

— Не беспокойтесь, приду, — молвил Буччоло и отправился к даме.

А маэстро тем временем, надев панцырь и шлем, пошел за ним по пятам, намереваясь схватить его у дверей дома. Но Джованна ожидала возлюбленного, поспешно впустила его и заперла дверь. Тотчас же затем пришел маэстро и начал бушевать. Тогда Джованна потушила свечу, стала перед своим воз-

любленным, заслонив его собою, отперла дверь и одной рукой обняла мужа, между тем как другой выпроводила Буччоло так ловко и быстро, что маэстро ничего не заметил, и принялась кричать:

— Помогите! Помогите! Маэстро сошел с ума!

И она крепко обнимала его, не выпуская. Буччоло не узнал мессера Фабрицио, так как не мог видеть лица его, спрятанного забралом. Соседи сбежались на шум и, видя профессора вооруженным в несвойственный ему панцырь и шлем, слыша, как супруга его кричала: "Держите его, он помешался от чрезмерных занятий!" — поверили и решили, что мессер Фабрицио не в своем уме. Соболезнуя, приступили они к нему.

— Ах, маэстро, маэстро, что это такое с вами приключилось? Ложитесь-ка скорее в постель, да отдохните как следует и впредь не утомляйте мозга чрезмерными трудами. Хотя мы люди неученые, но советуем вам от доброго сердца: право же, успокойтесь, маэстро.

— Да как же мне успокоиться, — вопил мессер Фабрицио, — когда я видел собственными глазами, как эта негодная впустила в дом любовника!

— Любовника! — воскликнула мадонна Джованна, — о, я несчастная! Да спросите же этих добрых людей, случилось ли им примечать, чтобы я в чем-нибудь провинилась перед вами!

Тогда все мужчины и женщины ответили в один голос:

— Маэстро, выбросьте из головы этот вздор — ибо не было и не будет на свете женщины более скромной и добродетельной, чем ваша супруга. Что другое, а уж это мы знаем достоверно.

— Ничего вы не знаете! — кричал маэстро, — я говорю вам, что собственными глазами видел любовника, и знаю, что он теперь в моем доме.

В это время подросли двое братьев мадонны Джованны. Увидев их, она заплакала еще сильнее и сказала:

— Милые братья, мой муж сошел с ума и хочет убить меня. Он говорит, что я впустила к себе в дом любовника, — как это вам нравится? Вы ведь знаете, что я не такая женщина и не так я воспитана, чтобы терпеть подобные оскорбления.

Тогда братья сказали:

— Мы удивляемся, что вы смеее называть нашу сестру негодною женщиной. Сколько лет жили вы с нею в добром согласии? Что же сегодня приключилось и за что вы на нее в такой ярости?

— Я видел любовника, — твердил мессер Фабрицио, — я видел его собственными глазами!

— Хорошо, — возразили братья, — поищем. И если найдем, накажем ее так, что вы останетесь довольны.

Один из них отозвал сестру в сторону и спросил:

— Скажи правду, есть ли в доме мужчина?

— Что ты говоришь, — воскликнула мадонна Джованна, — как тебе не стыдно спрашивать об этом! Избави меня Боже от такого позора. Я согласилась бы лучше тысячи раз умереть, чем сделать или даже подумать что-либо подобное.

Эти слова вполне успокоили братьев, и вместе с мессером Фабрицио начали они обыскивать дом. Маэстро увидел кучу белья, ринулся в нее и стал колоть мечом с такою яростью, как будто это был сам Буччоло, ибо думал, что он спрятан в белье.

— Ну, вот видите, — всплеснула руками Джованна, — не говорила ли я вам, что он рехнулся? Разве это не явное сумасшествие — портить собственное добро, которое не сделало ему никакого вреда?

Братья обыскали дом, ничего не нашли и убедились, что маэстро и в самом деле не в своем уме.

Один произнес:

— Он помешался.

Другой прибавил:

— Маэстро, дорогой маэстро, согласитесь, что вы были очень неправы, называя нашу сестру негодною женщиной.

Услышав это, профессор пришел в исступление, ибо не мог сомневаться в том, что видел собственными глазами, и начал осыпать их жестокою бранью, причем всё время держал в руке обнаженный меч. Тогда они напали на него, схватили, обезоружили, связали по рукам и ногам, оставили так на всю ночь, а сами с сестрою пошли спать. Утром позвали врача: он прописал микстуру, велел положить на голову больному ледяные примочки, сделал кровопускание и посоветовал, чтобы никто с ним не говорил, не отвечал на его вопросы и чтобы его держали на диете, пока ему не станет лучше. Всё это было точно исполнено.

В Болонье распространился горестный слух, что мессер Фабрицио, знаменитый доктор диалектики, "царь силлогизмов", сошел с ума. Все принимали в нем участие. Студенты говорили между собою:

— А ведь я еще вчера заметил, что маэстро как будто не в себе. Помните, он не мог дочитать нам лекции, да и лицо у него было странное.

Многие втайне злорадствовали:

— Вот к чему приводит людей излишняя ученость. Того и гляди лукавый попутает.

Студенты решили навестить больного профессора. Буччоло, ничего не зная, пришел в университет, чтобы рассказать мессеру Фабрицио свои ночные приключения. Но здесь сообщили ему, что маэстро сошел с ума. Буччоло удивился, весьма был огорчен и вместе с товарищами пошел навестить больного. Когда он увидел, куда они идут и в чей дом, —

недоумению, потом ужасу его не было предела, так что, поняв всё, он едва не потерял сознание. Но из страха, чтобы никто не заметил его смущения, вошел с товарищами в дом и увидел мессера Фабрицио на постели, обложенного ледяными примочками, связанного и бледного. Студенты стали поочередно подходить к профессору и выражать ему участие и соболезнование. Когда очередь дошла до Буччоло, он приблизился к мессеру Фабрицио и сказал:

— Дорогой учитель, я люблю и почитаю вас, как родного отца, а потому, если могу сделать что-нибудь угодное, приказывайте мне, как сыну.

Маэстро, видя его сердечное раскаяние, добродушно молвил в ответ:

— Буччоло, Буччоло, ступай с Богом! Довольно ты на мой счет поучился, хотя, сказать правду, и меня кое-чему выучил.

Тогда мадонна Джованна поспешно прибавила:

— Не обращайтесь внимания на его слова: он бредит.


А Буччоло поскорее ушел, отыскал Пьетро Паоло и молвил:

— Брат, будь счастлив. Я столькому здесь научился, что у меня прошла охота учиться более.

С этими словами он покинул друга, тотчас собрался в путь и благополучно приехал в Рим.

1896





ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ

(1873—1950)

И.С. Шмелев — писатель богатого тематического многообразия: его как реалиста волнует и судьба "маленького человека", и разложение дворянских усадеб, семей, традиций, жизнь прислуги и аристократической интеллигенции. Он писатель города, исследующий нищие углы, душные лабазы, мебелированные квартирки с окнами "на помойку", рестораны и кабаки, пыльные улицы, но живописует и природу во всем богатстве ее ароматов и красок, в сложности взаимоотношений человека с братьями своими меньшими; его природа живет в тихо спадающих солнечных дождях, в желтеющих подсолнухах, в неугомонном соловьином пении. Одни герои Шмелева могут только мечтать о лесе, прохладе, о тишине вечернего пруда, о тихих озерках, другие живут на лоне природы, но, погрязнув в мелких делах и заботах суетной жизни, не замечают ее. Третьим — красота родной земли открыта.

Изобразительный язык Ивана Шмелева отличается яркой метафоричностью, наполняющей его описания, размышления о прошлом и настоящем, воспоминания детства множеством драгоценных мелочей. Мастер слова и образа, он создает утонченный, незабываемый, присущий только ему облик русского быта, традиций, среднерусской природы.

Шмелев не принял Октябрьской революции, а после расстрела в 1920 году без суда и следствия

единственного сына, офицера белой армии, он покинул родину. Умер во Франции.

”Шмелев теперь — последний и единственный из русских писателей, у которых еще можно учиться богатству, мощи и свободе русского языка...” — писал А.И. Куприн в 1933 году.

КАК Я ВСТРЕЧАЛСЯ С ЧЕХОВЫМ За карасями

Это были встречи веселые, в духе рассказов Антоши Чехонте. Чехов был тогда еще А. Чехонте, а я — маленьким гимназистом. Было это в Москве, в Замоскворечье.

В тот год мы ездили на дачу, и я с Пиуновским Женькой — упокой, Господи, его душу: пал на Карпатах, сдерживая со своим батальоном напор австрийской дивизии, за что посмертно награжден св.Георгием, — днями пропадали в Нескучном. Мы строили вигвамы и вели жизнь индейцев. Досыта навострившись на индейцах, мы перешли на эскимосов и занялись рыболовством в Мещанском саду, в прудах. Так назывался сад при Мещанском училище, на Калужской. Еще не чищенные тогда пруды славилась своими карасями. Ловить посторонним было воспрещено, но Веревкин Сашка, сын училищного инспектора, был наш приятель, и мы считали пруды своими. В то лето карась шел, как говорится, дуром: может, чуял, что пруды скоро спустят и всё равно погибать, так уж лучше погибать почетно. Женька так разъярился, что оттащил к букинисту латинский словарь и купил ”дикобразово перо” — особый поплавок, на карасей. Чуть заря — мы уже на прудах, в заводишке, густо заросшей ”гречкой”, где тянулась протоčina, — только закинуть

удочку. Женька сделал богатую прикормку — из горелых корок, каши и конопли, "дикобразово перо" делало чудеса, и мы не могли пожаловаться. Добычу мы сушили и толкли питательный порошок или, по-индейски, — пеммикан, как делают это эскимосы.

Было начало июня. Помню, идем по зорьке, еще безлюдным садом. В верхушках берез светится жидким золотцем, кричат грачата, щебечут чижики по кустам и слышно уже пруды: тянет теплом и тиной, и видно между березами в розоватом туманце воду. Только рыболовы знают, что творится в душе, когда подходишь на зорьке к заводинке, видишь смутные камыши, слышишь сонные всплески рыбы, и расходящийся круг воды холодком заливаает сердце.

— А, черррт!.. — шипит, толкая меня, Женька, — сидит какой-то... соломенная шляпа!..

Смотрим из-за берез; сидит — покуривает, удочки на рогульках, по обе стороны. Женька шипит: "Пощупаем, не браконьер ли?" Но тут незнакомец поднимается, высокий, голенастый, и — раз! тащит громадного карасищу, на-шего, черноспинного, чешуя в гривенник, и приговаривает баском таким: "Иди, голубчик, не упирайся", — спокойно так, мастера сразу видно. И кому-то кричит налево: "Видали, каков лапоток?" А это, сбоку, под вётлами, Кривоносый ловит, воспитатель училищный. А незнакомец на кукан карася сажает, прутик в рот карасю просунул, бечевочку под жабры, а на кукане штуки четыре, чисто подлещики, с нашей прикормки-то. Видим, место всё неудобное, вётлы, нельзя закинуть. И Кривоносый тащит — краснопёрого, золотого, бочка оранжевые, чуть с чернью. А карасище идет, как доска, не трепыхнется. Голенастый, в чесучёвом пиджаке, в ладоши даже захлопал: "Не ожидал, какое тут у вас рыбе эльдорадо! буду теперь захаживать". Смотрим — и на

другой удочке тюкает, повело... Женька шипит: "Надо какие-нибудь меры... самозванцы!" А незнакомец выволок золотого карасищу, обеими руками держит и удивляется: "Не карась, золотая медаль!" Сердце у нас упало. А Кривоносый орет: "А у меня серебряная, Антон Павлыч!.." А незнакомец опять золотого тащит... — и плюнул с досады в воду: плюхнулся карасище, как калоша. Ну, слава тебе господи!

Подошли поближе, уж невтерпех, Женька рычит: "А плевать, рядом сейчас закину". Смотрим — чу-уть поплавок ветерком будто повело, даже не тюкнуло. Знаем — особенное что-то. И тот сразу насторожился, удочку чуть подал, — мастера сразу видно. Чуть подсёк, — так там и заходило. И такая тишь стала, словно все померли. А оно — в заросли повело. Тот кричит: "Не уйдешь, голуба... знаю я твои повадки, фунтика на два линь!.." А линей отродясь тут не было. Стал выводить... — невиданный карасище, мохом весь зарос, золотце чуть проблескивает. А тот в воду ступил, схватил под жабры и выкинул, — тукнуло, как кирпич. Кинулись мы глядеть, и Кривоносый тут же. Голенастый вывел из толстой губы крючок, — "колечко" у карасины в копейку было, гармонья словно! — что-то на нас прищурился и говорит Кривоносому, прыщавому с усмешкой: "Мещане караси у вас, сразу видно!" Кривоносый спрашивает почтительно: "Это в каком же смысле... в Мещанском пруду-с?" А тот смеется, приятно так: "Благородный карась любит ловиться в мае, когда черемуха... а эти, видно, Аксакова не читали". Приятным таким баском. Совсем молодой, усики только, лицо простое, словно у нашего Макарки из Крымских бань. "А вы, братцы, Аксакова читали? — нам-то, — что же вы не зажариваете?.." Женька напыжился, подбородок втянул и басом, важно: "Зажарим, когда поймаем". А тот вовсе и не обиделся: "Молодец, говорит, за словом

в карман не лезет". А Женька ему опять: "Молодец в лавке, при прилавке!" — и пошел направо, на меня шипит: "Девчонка несчастная, а еще "Соколиное перо", черт... сказал бы ему, наше место, прикормку бросили!" Стали на место, разматываем. Вётлы нависли сажени на две от берега, чуть прогалец, поплавку упасть только-только.

Размахнулся Женька, — "дикобразово перо" в самом конце и зацепилось, мотается, а мотыль-наживка над самой водой болтается. А там опять карасищу тащут! Женька звонил-звонил, — никак отцепить не может, плещет ветками по воде, так волны и побежали. "Плевать, всех карасей распугаю, не дам ловить!" А "дикобразово перо" пуще еще запуталось. Незнакомец нам и кричит: "Ну, чего вы там без толку звоните! ступайте ко мне, места хватит!" А Женька расстроился, кричит грубо: "Заняли наше место, с нашей прикормки и пользуетесь!" И всё звонит. А незнакомец вежливо так: "Что ж вы не сказали? у нас, рыболовов, правила чести строго соблюдаются... прошу вас, идите на ваше место... право, я не хотел вам портить!" А Кривоносый кричит: "Чего с ними церемониться! мало их по-роли, грубиянов... на чужой пруд пришли — и безобразничают еще. По какому праву вы здесь?" А Женька ему свое: "По верёвкинскому, по такому!" Кривоносый и прикусил язык.

А клевать перестало, будто отрезало: распугал Женька карасей. Похлестали они впустую, незнакомец и подошел к нам. Поглядел на нашу беду и говорит: "Не снять. У меня запасная есть, идите на ваше место", — и дает Женьке леску, с длинным пером, на желобок намотано, — у Перешивкина продается, на Моховой, — "Всегда у нас, рыболовов, когда случится такое..." — потрепал Женьку по синей его рубахе, по "индейской": "Уж не сердитесь..." Женька сразу и

отошел. "Мы, говорит, не из жадности, а нам для пеммикана надо". — "А-а, — говорит тот, — для пеммикана... будете сушить?" — "Сушить, а потом истолкаем в муку... так всегда делают индейцы и американские эскимосы... и будет пеммикан". — "Да, говорит, понимаю ваше положение. Вот что. Мне в Кусково надо, карасей мне куда же... возьмите для пеммикана". Вынул портсигар и угощает: "Не выкурят ли мои краснокожие братья со мною трубку мира?" Мы курили только "тере-тере", похожее на березовые листья, но все-таки взяли папироску. Сели все трое и покурили молча, как всегда делают индейцы. Незнакомец ласково поглядел на нас и сказал горлом, как говорят индейцы: "Отныне мир!" — протянул нам руку. Мы пожали, в волнении. И продолжал: "Отныне моя леска — твоя леска, твоя прикормка — моя прикормка, мои караси — твои — караси!" — и весело засмеялся. И мы засмеялись, и всё закружилось от курения. Потом мы стали ловить на "нашем" месте, но клевала всё мелочь, "пятачишки", как называл ее наш "бледнолицый брат". Он узнал про "дикобразово перо" и даже про латинский словарь, пошел и попробовал отцепить, но ничего не вышло. Всё говорил: "Как жаль, такое чудесное "дикобразово перо" погибло!" — "Нет, оно не погибнет!" — воскликнул Женька, снял сапоги и бросился в брюках и в синей рубаше в воду. Он плыл с перочинным ножом в зубах, как всегда делают индейцы и эскимосы, ловко отхватил ветку и поплыл к берегу с "дикобразовым пером" в зубах. "Вот! — крикнул он приятному незнакомцу, отныне — брату, — задача решена, линия проведена и треугольник построен!" Это была его поговорка, когда удавалось дело. "Мы будем отныне ловить вместе, заводь будет расчищена!" Брат бледнолицый вынул тут записную книжечку и запиасл что-то карандашиком. Потом осмотрел

”дикобразово перо” и сказал, что заведет и себе такое. Женька, постукивая от холода зубами, сказал взволнованно: ”Отныне ”дикобразово перо” — ваше, оно принесет вам счастье!” Незнакомец взял ”дикобразово перо”, прижал к жилету, сказал по-индейски, — ”Попо-кате-петль!”, что значит ”Великое Сердце”, и положил в боковой карман, где сердце. Потом протянул нам руку и удалился. Мы долго смотрели ему вслед.

— Про-стяга! — взволнованно произнес Женька высшую похвалу: он не бросал слова на ветер, а запирали их ”забором зубов”, как поступают одни благородные индейцы.

Мимо нас прошел Кривоносый и крикнул, тряся пальцем:

— Отвратительно себя ведете, а еще гимназисты! Доведу до сведения господина инспектора, как вы грубили уважаемому человеку, больше вашей ноги здесь не будет, попомните мое слово!

Женька крикнул ему вдогонку: ”Мало вас драли, грррбиянов, — сплюнул и прошипел: — Бледнолицая с-собака!..”

Припекло. От Женьки шел пар, словно его сварили и сейчас будут пировать враги. Пришел Сашка Веревкин и рассказал, что незнакомец — брат надзирателя Чехова, всю ночь играл в винт у надзирателей, а потом пошли ловить карасей... что пишет он в ”Будильнике” про смешное, — здорово может прохватить! — а подписывает для смеха, — Антоша Чехонте. А Кривоносого выгонят, только пожаловаться папаше, записано в кондуите про него — ”был на дежурстве не в порядке, предупреждение”. Женька сказал: ”Черт с ним, не стоит”. Он лежал на спине, мечтал: нежное что-то было в суровом его лице.

Случилось такое необычное в бедной и неуютной жизни, которую мы пытались наполнить как-то...

нашим воображением. Многого мы не понимали, но сердце нам что-то говорило. Не понимали, что наш "бледнолицый брат" был поистине нашим братом в бедной и неуютной жизни и старался ее наполнить. Я теперь вспоминаю из его рассказов, — "Монтигомо, Ястребиный Коготь..." — так, кажется?..

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Я с нетерпением ждал лета, следя за его приближением по хорошо мне известным признакам. Самым ранним вестником лета являлся полосатый мешок. Его вытягивали из огромного сундука, пропитанного запахом камфары, и вываливали из него груды парусиновых курточек и штанишек для примерки. Я подолгу должен был стоять на одном месте, снимать, надевать, опять снимать и снова надевать, а меня повёртывали, закалывали на мне, пропускали и опускали — "на полвершочка". Я потел и вертелся, а за не выставленными еще рамами качались тополёвые ветви с золотившимися от клея почками и радостно голубело небо.

Вторым и важным признаком весны-лета было появление рыжего маляра, от которого пахло самой весной — замазкой и красками. Маляр приходил выставять рамы — "впускать весну" — и наводить ремонт. Он появлялся всегда внезапно и говорил мрачно, покачиваясь:

— Ну, и где у вас тут чего?..

И с таким видом выхватывал стамески из-за тесёмки грязного фартука, словно хотел зарезать. Потом начинал драть замазку и сердито мурлыкать себе под нос:

И-ах и те-мы-най ле-со..

Дай йехх и те-мы-на-ай...

Я старался узнать, что дальше, но суровый маляр вдруг останавливал стамеску, глотал из желтой бутылочки, у которой на зеленом ярлычке стояло "политура", плевал на пол, свирепо взглядывал на меня и начинал опять:

Ах-ехх и в темы-на-ам-ле...

Да и в те... мы-ны-мм!..

И пел всё громче. И потому ли, что он только всего и пел, что про темный лес, или потому, что вскрикивал и вздыхал, взглядывая свирепо исподлобья, — он казался мне очень страшным.

Потом мы его хорошо узнали, когда он оттаскал моего приятеля Ваську за волосы.

Так было дело.

Маляр поработал, пообедал и завалился спать на крыше сенай, на солнышке. Помурлыкав про темный лес, где "сы-тоя-ла да со-сен-ка", маляр заснул, ничего больше не сообщив. Лежал он на спине, а его рыжая борода глядела в небо. Мы с Васькой, чтобы было побольше ветру, тоже забрались на крышу — пускать "монаха". Но ветру и на крыше не было. Тогда Васька от нечего делать принялся щекотать соломинкой голые маляровы пятки. Но они были покрыты серой и твердой кожей, похожей на замазку, и маляру было нипочем. Тогда я наклонился к уху маляра и дрожащим тоненьким голосом запел:

И-ах и в те-мы-ном ле-э...

Рот маляра перекосялся, и улыбка выползла из-под рыжих его усов на сухие губы. Должно быть, было приятно ему, но он все-таки не проснулся. Тогда Васька предложил приняться за маляра как следует. И мы принялись-таки.

Васька приволок на крышу большую кисть и ведро с краской и выкрасил маляру пятки. Маляр лягнулся и успокоился. Васька сострочил рожу и продолжал. Он обвел маляру у щиколоток по зеленому браслету, а

я осторожно покрасил большие пальцы и ногти. Маляр сладко похрапывал — должно быть, от удовольствия. Тогда Васька обвел вокруг маляра широкий "заколдованный круг", присел на корточки и затянул над самым маляровым ухом песенку, которую с удовольствием подхватил и я:

Рыжий красного спросил:

— Чем ты бороду лучил?

— Я не краской, не замазкой,

Я на солнышке лежал!

Я на солнышке лежал,

Кверху бороду держал!

Маляр заворочался и зевнул. Мы притихли, а он повернулся на бок и выкрасился. Тут и вышло. Я махнул в слуховое окошко, а Васька поскользнулся и попал маляру в лапы. Маляр оттрепал Ваську и грозил окунуть в ведро, но скоро развеселился, гладил по спине Ваську и приговаривал:

— А ты не реви, дурашка. Такой же растёт у меня в деревне. Что хозяйской краски извел, ду-ра... да еще ревет!..

С того случая маляр сделался нашим другом. Он пропел с нами всю песенку про темный лес, как срубили сосенку, как "угы-на-ли добра молодца в чуду-дальнюю сы-торонушку!.." Хорошая была песенка. И так жалостливо пел он ее, что думалось мне: не про себя ли и пел ее? Пел и еще песенки — про "тёмную ноченьку, осеннюю", про "березыньку" и еще про "поле чистое"...

Впервые тогда, на крыше сенай, почувствовал я неведомый мне дотоле мир — мир тоски и раздолья, таящийся в русской песне, неведомую в глубине своей душу родного мне народа, нежную и суровую, прикрытую грубым одеянием. Тогда, на крыше сенай, в ворковании сизых голубков, в унылых звуках маляровой песни приоткрылся мне новый мир — и

ласковой и суровой природы русской, в котором душа тоскует и ждет чего-то... Тогда-то, по ранней моей поре, — впервые, быть может, — почувствовал я силу и красоту народного слова русского, мягкость его, и ласку, и раздолье. Просто пришло оно и ласково легло в душу. Потом я познал его: крепость его и сладость. И всё узнаю его...





АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РЕМИЗОВ (1877—1957)

А.М. Ремизов начал печататься до революции. Несколько раз был арестован за участие в студенческих беспорядках, провел 6 лет в тюрьмах и ссылках.

В литературе Ремизов обратился к пересказу, переосмыслению преданий, притч, легенд, пытаясь реставрировать язык в том виде, каким он был "до Петра". Вследствие этого язык его перенасыщен анахронизмами, повторами, наивной логикой "нецивилизованного" народного творчества средневековой Руси. Песенные легенды, религиозные сюжеты, фольклорные мотивы определили жанровые и стилистические особенности прозы писателя, который словно скитается в своих повествованиях по глухим, заповедным уголкам России, вспоминая впечатления детства, описывая удушающий быт купеческой старины или московской фабричной уличной жизни. Реальность у него свободно уживается с фантастикой, "сны" могут стать основой для повести или рассказа.

Стремление Ремизова к усложненности синтаксических форм, своеобразному, напоминающему стихи, ритму, к лексическим новообразованиям со сложной системой разнообразных типов и оказало значительное влияние на "орнаментальную прозу" (произведения Е. Замятина, "Серрапионовых братьев", Л. Леонова, Б. Пильняка и др.).

А.М. Ремизов признавался: "Веду свое от Гоголя, Достоевского, Лескова. Чудесное — от Гоголя, боль — от Достоевского, чудное и праведное — от Лескова".

Писатель враждебно встретил Октябрьскую революцию, ответив на нее "Словом о погибели земли русской" (1918), и в 1921 году эмигрировал. В последние годы жизни вновь принял советское гражданство, интересовался жизнью в СССР.

GLORIA IN EXCELSIS¹

I

Зорко старцу Амуну на его дикой недоступной скале.

Кто его видит? Кто его слышит?

Там, где когда-то гнезвился пещерный орел, пещера старца. А видит его только небо, только солнце, только звезды — пробежит ветер, шелестя горько, и другой, черный, что подымает беду, вестник напасти, шуршит; кукует и дальше... и третий, весенний, осыпая пещеру бело-алым цветом, как его брат белый, пороша снегом, поет безумные песни. Да еще видят его дикие звери: по ночам приходят звери к пещере и старец их поит.

Зорко старцу Амуну и ясно.

Обрезано сердце его.

Его подвиг велик и труды неподъемны. Под дождем и ветром, резче ветра и хлестче дождя его бич терновый.

Трижды в год опускает старец глаза в долину на те трубы и башни, на черепицу — на дымящийся, с

¹ Последнее предложение рассказа — перевод его заглавия.

синей адовой пастью в темные ночи, тесный город, что повис над морем. И трижды в год осеняет старец крестом город и море.

Море плещется, размывает скалу.

И с гудом и гулом волн — звон долины.

На звон выходит старец из пещеры на молитву.

Небо над ним и звезды.

Никто не помнит, когда взошел он на гору и поселился в дикой пустыне. Раз в год с дарами крестной тропой подымается старик священник приобщать старца. И в сумерках вечера, когда спускается старик назад в долину, видно с горы сияние чаши — белый небесный свет.

Зорко старцу Амуну и ясно.

Обрезано сердце его и уши отверсты.

В который час, в какую напасть вот вереницей, как упорный змей, тянутся на гору жены, дети и старики, кусками и кольцами ползут по острым камням, о камни — на коленях, глаза туда и руки простерты:

— Помолись за наших мужей и сынов, они пошли на войну. Жестокий Антиох объявил нашему королю Аспиду войну. Помоги одолеть врага. Дай Боже вернуться им целым! Помолись! Попроси!

Выглянул старец:

— Горемыки! Не могу я молиться за проливающих кровь.

И скрылся в пещере.

И крестная тропа, как от снега под вешним солнцем, шумно опросталась от горемычных.

Сердце ходило — проклятия вышептывали поблекшие осиротелые губы и другие, запекшиеся, как земля под зноем.

— Жестокий, он не любил никого.

— Черствое сердце, оно не рвалось от тоски.

— Забыл он отца и мать! Нам ничего не надо, не для себя и живем, только бы сына нам сохранить! Заглохло сердце его.

— О, если бы знал дни и ночи, память мою! Не мил мне свет и звездная ночь постыла. Тоска выела сердце. Глаза мои гаснут от слез.

— Лицемер! Поит зверей, а мы?

— Нет, он никого не любил, не думал ни о ком, мертвец проклятый!

Проклятие и жалоба, как море в погоду, взывало и взвивалось по опустелой долине — из городских ворот выходили вооруженные мужи и юноши, покидая стариков и семью.

Да, какое резкое слово открытому сердцу, в страхе и тревоге за близких, — сухой песок и просящие глаза. Или и вправду забыл он отца и мать? Или, не любя никого, его сердце, как окаменевшая в мире когда-то нежная ветвь?

Так выговаривало сердце и слепло от горя.

Вооруженные мужи и юноши, покидая стариков и отрываясь от любимой семьи, шли умирать за короля и землю — не пощадит жестокий Антиох родную их землю.

И кричало сердце, ожесточаясь:

— Как? Проливающие кровь? Кто же нас защитит? И нет молитвы за них? Путь к Богу закрыт? Видит Бог, проклиная я час, в который зачала меня мать, проклиная день, в который увидела белый свет, проклиная звезды и ночь моей любви, не надо мне жизни! Мужа верни мне!

Железная крыша повисла над долиной — над городом, выбрасывающим в небо из своих красных труб сине-адово пламя, и, как отбитые, опустились руки.

— Мертвец проклятый!

Нет, жива душа у старца Амуна. И сердце его не было глухо: он прозревал свет небесный, слышал плач сердца человеческого, и вопль звериный не был закрыт от него.

Одни живут, как звери, имея только шкуру, мясо, кости, кишки, другие мнутся и чают, третьи предстоят Богу.

Старец, идя по пути чистоты и духа, отрешившись от страстей — ими движется жестокая жизнь наша! — и освободившись от гнета хотения и воли, творя волю Божию, пил чашу живой воды, и были руки его чисты и чистое сердце мудро.

Люди, живущие звериным обычаем, а таких больше полмира, люди с душой закрытой проходят кровавый круг жизни на сём свете, и пролитие крови для них закон, но в царстве духа кровь безвластна.

Нет, не мог старец молиться за проливающих кровь.

И знал он то, что было скрыто от наших смертных глаз, он прозревал судьбы мира, судьбу человеческую, обрекавшую человека и даже целый народ по его делам прошлым на жизнь и смерть.

И о своем народе знал он правду.

И прозревая судьбы мира и провидя судьбу в глазах приходящих к нему, как далек был он от мысли, что он выше других, и знает, и дано ему больше. Он не полагался на себя, и в душе его не рождалась беспечность.

С бодростью вставал он от сна, прилежно стоял на молитве и много трудился.

И за долгие подвиги он достиг почти бестелесной жизни, всё желание своё устремив к Богу в ожидании часа, когда воззван будет от мира сего на отдых от муки жизни здешней.

Труды, молитва, созерцание — так проводил он свои дни.

И тело его не слабело, душа не теряла бодрости, и свободный дух его раскрылся.

Божьим светом озарена был его душа.

Отпустив пришедших к нему на гору с мольбой горемычной, он стал на молитву и всю ночь молился о чающей твари.

III

По немалому времени опять приходят на гору скорбные.

Лиц их не видно, одни испуганные и воспаленные глаза, глаза устремлены к пещере, и сквозь стон едва слышен голос.

Вышел из пещеры старец.

— Отец! — и руки тянутся к последней защите, — война разгорается. Наши мужья и отцы ушли. Их призвал король против Псаммия. Жестокий полководец Псаммий пристал к Антиоху. Мы воюем со многими властителями. Кровь заливает наши поля.

И скорбные не хотят уходить, моля о пощаде и о победе над врагом.

А там, на полях, обагремых кровью, рядом с воинами Аспида умирали войны Антиоха и Псаммия. И в Сирии стонали, как в Александрии.

Матери говорили:

”Нам ничего не надо, не для себя и живем мы, нам только бы сохранить нашего сына!”

Отцы с горестью вспоминали свои надежды, больше не веря в возвращение сыновей.

Жены рвали на себе волосы от тоски по мужьям.

И как в Александрии, так и в Сирии, слово в слово одна подымалась к небу молитва о пощаде и победе над врагом.

А небо было одно.

И сердце человеческое — горящее и стелящее.

И этого не видели люди, живя звериным обычаем своим во власти крови.

Старец ничего не сказал и скрылся в пещере.

И восстала гора — скорбные, не проклиная уж, все слова давно перегорели в горечи напрасных ожиданий и дум беспокойных, поползли убито со скалы в долину в пустые дома свои оплакивать злую долю.

— Нет, безбожное творится в мире, гневается старец.

А старец по отшествии скорбных стал на молитву и всю ночь молился за своих братьев, достигших свободы духа.

IV

Люди приходят в мир не по желанию своему, и душа их несет в себе ту меру сил, какая досталась им от прошлой земной жизни их, и участь каждого по делам его.

У одних кожаный покров покрывает душу, их глаза устремлены в землю, — кожа, мясо, кости, кишки — и обычай их жизни звериный, и таких больше полмира, другие, они еще не узрели неба, им оно грезится в снах, окликанные, и душа их, странница, нежна, как цвет, третьи — сыны духа, им отверсто небо.

Рожденные в кожаной одежде не могут стать чающими, и чающим никогда в явь не откроется небо. Но трудами и жертвою каждый может дойти до своей

границ: и восплакавшие звери восстанут к новой жизни чающими, и чающие — сынами духа, сыны же духа раскрываются в меру своего подвига.

Старец Амун родился, как и все родятся, от матери — не оскорбляйте жен, берегите нашу землю-мать! — и избранный среди позванных еще в юности услышал в своем сердце голос. Он рос и учился, как его сверстники, и родители его гадали о его будущем, желая ему чести, славы и покоя. А голос, звучавший в сердце его, не сулил никакого покоя. Всё, к чему стремится душа в зверином обычае живущих, — богатство, власть, слава, отвращало его душу. И затосковал он по какой-то другой жизни, не той — с богатством, властью и славой, и решил по голосу сердца: оставил он дом, родителей своих и пошел искать свою родину. И так скитаясь по свету и терпя большую нужду и скорби, — не гоните странных, берегите больших братьев своих! — он пришел в пустыню, и привела его тропа к пещере египетского подвижника-духоносца. В пустыне он и остался. Он прошел долгий курс под началом учителя своего и, укрепив дух свой, взошел на дикую гору и поселился один в пещере, чтобы испытать искушение от демонов. И живя в борьбе с демонами, он покорил их, и дана ему была власть как над низшими, так и над начальными, ибо был высок в вере и смиренен сердцем.

V

В Намосе жизнь замирала.

Война всё расстроила: и хозяйство, и самый строй жизни. Не хватало работников — война требовала живой силы, и вот людей искусных отрывали от их прямого, полезного дела и угоняли на охоту за

человеком — не стало кому и пахать, не было и лучников, и шакалы, не стесняясь, подступали к самому городу.

Там, на полях, обгагряемых кровью, умирали от ран и заразы, а тут, за стеною — и жрать нечего, и одеться не во что — голодная, холодная смерть.

В Петровки подошли кочевники к городской стене и примкнули шатры свои к лачугам пригорода, и некому было отогнать их. А на Ильин день пришли посланные от короля Аспида и забрали дедов и отроков, способных наляцать¹ лук, а заодно прихватили и здоровых кочевников.

Вой и проклятия диких разрывали душу.

И в городе остались теперь лишь немощные да слабые.

Всё, что можно, всё повыбрали, и двух последних попов увели с собой посланные короля, одного — Галкина, а другого — забыл. Остался Евагрий, старик, разбитый ногами, давно живший на покое, к нему и приступили скорбные.

— Погодите, то ли еще будет, — сказал Евагрий, — придут нечестивые воины Антиоха и истребят всякую тварь, и настанет конец.

И был глухой плач, как собачий вой.

И из плача, как из колодца:

— Спросите старца Амуна, долго ли нам терпеть такую муку?

Но Евагрий отвечал:

— Старец пребывает в святости во все дни, не будет он разбирать проклятые наши дела.

Известия одно другого страшней приходили с войны.

Говорили, что королевское войско погибло у песчаной скалы, а другие — что в болоте. Говорили

¹ Наляцать (уст., арх.) — напрягать, натягивать.

также, что сами в плен сдались, а кто уперся, всё равно не сдобровать.

А тут увидели ополчение диких стрелков: они шли по улицам с дубинами и луками, шли на помощь королевскому войску. Они никого не обидели, только попросили горсть фиников на обед. Но внезапность появления их и дикий облик ужаснули.

— Спросите у старца! — просили те, кто уже больше не мог подняться.

По ночам среди бледных спасовых туманов какие-то птицы шарахали о землю крылом, и вдруг подымались вихри и сносили верхи башен и кресты церквей, являлись два месяца, показались три солнца. — Спросите у старца! — просили обреченные в свои последние минуты.

И вот вереницей по крестным камням поползли на коленях жены и доживающие останные дни старики, и лица их были темь и зелень, а глаза, как отцветший цвет.

— О мире! О мире! — шептали они, как тени.

И шепот их сливался в скрёб.

— Не могу я молить о мире, — сказал старец, — взявший меч мечом и погибнет.

— О мире! О мире! ради малюток, не обагрывших кровью рук.

— О мире! О мире! ради полей обагряемых кровью.

И шепот сливался в скрёб.

— Нет, — сказал старец, — но и до седьмого колена отмщается грех.

VI

Когда удалились скорбные, раздумался старец: дети, не обагрившие рук, и поля, обагряемые кровью, стали у него в глазах. Живые, измученные —

голодные дети со своим плачем ужасным и словами не нашими, поля, где умирали затоптанные цветы, — вошли в его душу. И скрёб от стопа и плача стоял в ушах. И он не мог победить жалости и отвлечь ум свой, чтобы с чистым сердцем приступить с молитвою к Богу.

И вдруг в теми пещерной явился светильник и светом ярким озарил пещеру, и старец увидел себя, провел по щеке, мокрой от слез, и тоска залила его душу.

Он сидел, согнувшись над начатой плетушкой, и какой ненужной показалась ему его работа. Ненужные валялись на земле прутья. И уныние влилось в его душу. И ум выговорил всеми словами ясно о ненужности труда его жизни.

Он сидел, опустившись весь, немощный, и веки, истомленные слезами и светом, тяжелели.

И на минуту он забылся.

И вдруг как от сильного толчка он вздрогнул, открыл глаза и осенил себя крестом.

И тотчас светильник исчез.

И понял старец, что это дьявол, и, положив клятву, твердо вышел из пещеры.

Звездная ночь была — звезды большие крылили.

— Господи, прости мир! — шептал старец и, ступив на острие камня, начал молитву, прося за мир слепой и страждущий, за поля, обагряемые кровью, за детей, не обагривших рук, за цветы полевые, за землю, за зверей, за камни. — Господи, прости мир!

И сердце его наливалось любовью, как полунощные звезды светом.

Звезды большие, разгораясь, крылили, вознося в небеса молитву.

— Господи, прости мир!

И вот на заре солнца донесся до вершины звон — звонил Евагрий.

И понял старец, что исполнились сроки — гудом показал Бог свою милость — и мир прощен.

И увидел он над морем: лик его был, как луч, одежда, как снег, по белому звезды, алая чаша на груди, в руке опущенный меч, закалающий зверя, а из крови зверя знак, а вокруг, как змей, водные волны.

И исполненный духа, воскликнул старец:

— Слава Тебе, показавшему нам свет!

И шелестом трав донесся голос его в долину.

И те, кто бодрствовал, посмотрели на небо — оно было ясно, и те, кто спал, пробудились от сна, и свет наполнил их душу.

Чего-то ждали, надеялись.

Говорили о чуде: старик Евагрий, столько лет проживший недвижим с разбитыми ногами, теперь поднялся и ходил, как безумный, возвещая о мире.

И верили и боялись верить.

А сердце играло.

Дух занимался.

Собирались на площадях, взбирались на холмы и смотрели туда... И глаза оживали, цветились, как политые цветы.

В полдень, подымая пыль по дороге, показались вестники короля: они несли желанную весть.

И заглохший Намос огласился песней.

По зову Евагрия все, кто только мог, пошли на скалу к пещере. И крестный путь не был трудным, не резали камни и не колола колючка.

Легко подымались на гору, славославя подателя света и мира.

Пещера была раскрыта, а у дверей пещеры на острие камня стоял, как поддерживаемый крыльями, старец Амун; он был мертв, и кровь ручейками бежала из его ног, уходя в трудную землю.

Слава в вышних Богу

и на земле мир.

ВЗВИХРЕННАЯ РУСЬ

Автобиографическое повествование

(Отрывок)

ОКНИЩА

*лица их — сама земля,
тело их — прилипло к костям,
до пояса отрасли волосы,
по локоть бороды — стрелами на груди,
одежда изодралась от голода и
тесноты — лохмотья висят,
а голоса их — пчелиные*

I

ФИФИГА

На улице вечером: стоят — прилипнут к стенке и смотрят на вас.

- - -

- - бывает у меня такое чувство, точно я виноват перед всеми, и мне хочется прощенья просить у всякого -

- - как задавит скука, и человек ничего не стоит -

- - три к носу, всё пройдет -

- - своему горю как-нибудь помогать надо, что же делать - -!

- - напрокудил и к стенке лепится! -

- - не было совести и не заводилось -

- - около чужого несчастья руки греют -

- - с именем Божьим да топором -

- - с дороги берут — всякая дрянь люди -

- - и невинный и винный страдает -

- - лезут козы на изгороду!
- - камня бы им горячего дать!
- - что украл, то Бог дал -
- - сколько веревку ни вей, конец будет -
- - судьба наша без судьбы -

- - -

Идет девчонка с бутылкой, а впереди какой-то тоже с бутылкой.

Девчонка повернула на 12 линию, а тот было дальше - -

— Дяденька! — окрикнула девчонка, и слышу шепотом: — керосин тут продают.

И я подумал:

”Можно жить еще на свете!”

- - -

— А что такое фифига?

— А это такое, что насаждает и никуда не скроешься; так и про человека говорят: ”превратился в фи-фигу!”

— А что такое ”медовые выплевыши” — очень, говорят, вкусные?

— Еще не пробовал.

II

НА УГЛУ 14-ой ЛИНИИ

Да, мы жили не так — это я потом тут понял до конца. Правда, и у нас бывало - - вот когда зимой воды не было и соседи нижних этажей, до которых вода доходила, верхним воды не давали: и не то, что воды жалко, а ”ходят — студят комнаты!”. И то все-таки скажу, не все - -

Да, не так - - это я говорю о том круге драни и голи, где каждый тащил на себе, как мешок тяжелый, свой неуверенный обузный день свою судьбу без судьбы.

На углу Большого проспекта и 14-ой линии стоит женщина. Одета она прилично, т.е. всё, что можно зашить и подштопать, всё сделано. И не такая она старая, не развалина, только лицо, как налитое, без кровинки. Она не просит словами, она чуть клянется и смотрит —

и ей всегда подают.

В самый тискущий тиск и последний загон — много о ту пору мудрствовал человек над человеком! — когда, кажется, что ничего не подскребсти, всё использовано и завалящего не может быть, я видел — подают!

А кое-кто еще и остановится, женщины больше: остановятся поговорят с ней — должно быть, в угол, где она на ночь-то ютится, туда, в этот ее ледник приносят ей, ну, что можно, что в силах человек сделать, когда у себя нет ничего.

И на лице у нее, как луч, светится.

И когда я это вижу, я уж иду на пяточках — мне всё страшно: вот я что-то спугну, помешаю чему-то, как-нибудь своим ходом нарушу, задую - - свет.

* * *

Как-то проходя по Б. проспекту, это зимою было, я старуху не увидел — померла, подумал.

”Так и померла, значит, в своем леднике!”

Неделя, прошла, другая — старухи не было.

”А может думаю, попала под декрет об упразднении нищенства?”

А сегодня гляжу, стоит! — чуточку поправее: там такое углубление есть в железной решетке забора, так в углублении прислонившись стоит, и по-прежнему кланяется, шея обмотана, обвязвна, но аккуратно так.

А какая-то женщина остановилась. Что-то шептала — а та ей отвечает.

Слов не слышно, но глаза я видел — вообще-то я по моей слепоте глаз у человека не вижу, а тут увидел: я увидел и понял, что очень плохо было эти недели, очень больно — хворала, но вот понемногу прошло. И еще я увидел: была в глазах кроткая покорность вынести эти тягчайшие дни — назначенные и неизбежные. А та женщина, я это тоже увидел, заплакала — от своего, конечно, заплакала: своего у каждого — через край!

И я тихонько пошел с обострённым глазом — слепой, различая мелочи незаметные.

И не знаю, куда мне деваться и что делать, когда я так вижу, и не знаю, как поправить —

III

ЗАЛОЖНИКИ

А другой раз иду я, у меня, ну — как грудная клетка открыта и внутренности обнажены — горят. Я не голоден, мне ничего такого не нужно себе, и я иду совсем вне всяких гроз.

Так шел я по Среднему проспекту с такой обнаженностью горящей — и каждое движение, каждый поворот встречного был мне, как прикосновение к больному месту.

И вот недалеко от Совдепа на углу 7-ой лин. гонят — Кто эти несчастные? — спросил я.

— Буржуи заложники! — кто-то ответил.

И я вспомнил, читал сегодня в "Правде" — это вскоре после убийства Урицкого — "за одну нашу голову сто ваших голов!" И я подумал:

"Это те, из которых отберут сто голов за голову!"

Приостановился и смотрел, провожая глазами обреченных: их было очень много — много сотен.

”Должно быть, в ”политике” так всё и делается, — думал я, — не глядя делается! ведь если бы смотреть так вот, как я, и всякое мстящее рвение погаснет — за голову сто голов!”

И вдруг увидел возмущенное лицо человека — возмущенный голос человека, кричащий:

”Убили! так нате ж вам! ваших — сто!”

А тут вижу гонят — это как раз те, которые попали — обреченные сотни.

Каждого различить в лицо невозможно, но есть общее: это согнутость и тревога — не о себе! о себе-то никто больше не тревожится, разве уж какой плющавый! — нет, о близких, у каждого ведь гнездо! — да еще недоумение: - - ”не согласен, не согласен, что несу ответ!”

”Да, это в политике, не глядя, — на бумаге, по анкетам - - !”

Я провожал глазами этих обреченных — пришибленные шли они покорно по Среднему проспекту из Совдепа - -

”Не трудящийся да не ест!”

- - калоши мои оказались такая рвань, взглянуть страшно. Откуда, что — ничего не понимаю. Потом догадываюсь: на собрании в Театральном Отделе обменялся с А.А. Блоком и носил с месяц, подложив бумагу, и вот опять попал в свои, но уж разношенные здорово, — это всё Блок. Мы идем по снегу, по сугробам — белое всё. И на душе — бело. Далеко зашли.

Да это Москва!

”Подождите, — говорит А.А. Блок, — посмотрю, можно ли?” Я остался у крыльца,

жду; а он в дом пошел. Я не знаю, кто живет в этом доме, но думаю, можно хоть чуточку передохнуть. А Блок уже назад —

”Нельзя, — говорит, — пойдёте дальше”.

”Не пускают?”

”Чужая мать”.

И идем по снегу, по сугробам — бело всё.

А на душе — не бело.

IV

ЛАВОЧНИК

В соседнем доме лавочка. Лавочника Микляева все знают. Только у Микляева и можно купить сахару, а больше нигде. Сахарные карточки появились еще в войну, и всё меньше и меньше выдают сахару, и уж без Микляева не обойтись стало.

И все пользовались сахаром, только не всем продавал он.

Я не раз ходил в лавку, тёрся, выжидая, когда уйдут покупатели и я останусь глаз на глаз с Микляевым. И выждав, начинал осторожно и отдаленно, а потом:

— Сахару бы! (Так меня учили.)

Но всякий раз Микляев только головой покачивал:

— Нету.

И я уходил ни с чем.

Но я не жаловался, как никто из соседей по нашей линии: всё равно, так или этак, а сахар достать есть где, и сахар будет. А ведь и лавчонка-то тесная, темная и только всегда огонек от лампадки перед образом в углу над конторкой — прямо над Микляевым, а для нас она светится такими сахарными огнями, куда Елисейев на углу Караванной.

Начался учет, и по анкетам вышло, что лавочник Микляев — "лавочник" — буржуй, и, как "паразитический элемент", попал он в особый список и должен был отбывать "общественные работы".

Я его часто встречаю по утрам: он бежит на какую-то "общественную работу". А лавка его заперта и огонька не видно — когда же ему торговать! И замечаю, как прохаживаются мимо лавки, ждут: не блеснет ли огонек? Да напрасно ждут! Поздно вечером возвращается Микляев с работы и не бежит, а медленно движется прямо домой: устал — непривычно! — всю жизнь за прилавком и всё на ногах и не уставал, а вот - -

И с каждым днем я замечаю, как он худеет — он как жердь: кожа да кости. И уж смотрит на тебя, а раньше, бывало, встречаясь, раскланивались —

это как собака, она тоже не смотрит, околевая.

В нашем районе все его жалеют: ни сахару достать, ни спичек.

— Ну кому человек мешал! — говорит какой-то остервенелый: без сахару-то всё опротивеет.

— Паразитический элемент!

А потом и лавка точно опала. В окно видно: все ящики сдвинулись или опрокинуты стоят и сор вокруг.

И хозяина что-то не встречаю.

Конечно, не молодой, трудно начинать жизнь по-новому - - а чтобы ну год-другой перетерпеть, вон Шариков тоже был "паразитический", а в конце концов дожил, дотерпел и в анкетном листике значится "нэпман" — красный купец, и как бы ни в чем не бывало.

*"Граждане, хищнически расходующие воду,
будут привлекаться к ответственности!"*

1917—1924





САША ЧЕРНЫЙ

(Александр Михайлович Гликберг)

(1880—1932)

Саша Черный дебютировал в прессе как автор фельетонов, юморесок, интермедий, афоризмов. Он обращается к жанру повести, рассказа, сказки. Написанные до революции ранние произведения С. Черного тематически разноплановы: это — и шарж в прозе как прямое продолжение его сатирической поэзии, и забавный житейский случай, и документальное воспоминание о встрече с "нечистой силой", и любовная мелодрама. За границей для него главной становится тема русского зарубежья: быт, нравы и судьбы тех, кто оказался вдали от Родины. Для писателя — это горестная тема, трагедия, беда, и он своими произведениями стремился поддержать дух людей, помочь им выжить. За границей С. Черный написал "солдатские сказки" — одно из самых значительных и светлых своих созданий, объединенных главным героем — простым русским солдатом.

Прозу Саши Черного отличает скупая щедрость в отборе художественных средств, чуткость к интонациям родной речи, умение тонко подмечать детали и подробности. Он любовно, но беспощадно трезво вглядывается в своих героев. Писатель умеет мастерски строить сюжет, все его действующие лица находятся в сложных взаимосвязях между собой, а финал, как правило, раскрывает эти взаимосвязи.

Обращаясь к прозе, С. Черный по своей натуре оставался поэтом: его проза лирична, она вызывает конкретное сопереживание, рассчитана на конкретный читательский отклик. А.И. Куприн считал, что "Саша Черный всюду остается настоящим, тонко чувствующим и глубоко думающим лириком — в красках, в звуках, в сатире, в быте и светлых нежно-чувственных образах природы".

СОЛДАТ И РУСАЛКА

(Из книги "Солдатские сказки")

Послал фельдфебель солдата в летнюю лунную ночь раков за лагерем в речке половить, — очень фельдфебель раков под водочку обожал. Засветил солдат лучину, искры так и сигают, — тухлое мясо на палке-кривуле в воду спустил, ждет-пождет добычи. Закопошились раки, из нор полезли, округ палки цапаются, — мясом духовитым не каждую ночь полакомишься...

Только было солдат приноровился черных квартирантов сачком поддеть, на вольный воздух выдрать, — шась, — кто-то его из воды за сапог уцепил, тащит, стерва, изо всей мочи, прямо напрочь ногу с корнем рвет... Уперся солдат растопыркой, иву-матушку за волосья ухватил, — нога-то самому надобна... Мясо живое из сапога кое-как выпростал, а сапог, к теткиной матери, в воду ушел...

Вскочил он полуобутый, глянул вниз. Видит: русалка, мурло лукавое, по мокрую грудь из воды выплеснулась, сапогом его дразнит, хохочет:

— Счастье твое, кавалер, что нога у тебя склизкая! А то б не ушел... Уж в воде я б с тобой в кошки-мышки наигралась...

— Да на кой я тебе лад, дура зеленая? Играй с окунем, а я человек казенный.

— Пондравился ты мне очень. Морда у тебя в веснушках, глаза синие. Любовь бы с тобой под водой крутила...

Рассердился солдат, босой ногой топнул:

— Отдай сапог! Рыбья кровь... Лысого беса я там под водой не видал, — у тебя жабры, а я б, как пустая бутылка, водой залился. Да и какая с тобой, слизь речная, любовь? На хвост-то свой погляди.

Тут ее, милые вы мои, заело. Насчет хвоста-то... Отплыла прочь, посреде речки на камень присела, сапогом себя, будто веером, от волнения обмахивает.

Солдат чуть не в плачь:

— Отдай сапог, мымра. На кой он тебе, один-то. А мне полуразутому хоть и на глаза взводному не показывайся... Съест без соли.

Зареготала она, сапог на хвост вздела, — и одного ей достаточно, — да еще и помахивает. Тоже у них, братцы, не без кокетства... Что тут сделаешь. В воду прыгнешь, — залоскочет, просить не упросишь, — какое ж у нее, у русалки, сердце...

А она, с камушка повернувшись, кое-что и надумала:

— Давай солдатик, наперегонки гнаться. Я вплавь, по воде, а ты по берегу — вон до той ракиты. Кто первый достигнет, того и сапог. Идет?

Усмехнулся про себя солдат: вот фефела-то!.. Ужель по сухопутью легкие солдатские ножки нехристь плавучую не одолеют?

— Идет, — говорит.

Подплыла она поближе, равнение по солдату сделала, — а он второй сапог с ноги долой, да под куст и шваркнул. Чтоб бежать способнее было...

Свистнула русалка. Как припустил солдат — трава под ним надвое, в ушах ветер попискивает, сердце —

колотушкой, медяки в кармане позвякивают... Уж и ракита недалече, — только впереди на воде, видит он, вода штопором забурлила и будто рыба чешуя цыганским монистом на лунной дорожке блестит... Добежал, — штык ей в спину! — плещется русалка супротив ракиты, серебряным голосом измывается:

— Что ж вы, солдатик, запыхавшись? Серьгу бы из уха вынули, — бежать бы легче было... Ну, что ж, давай повернем. Солдатское счастье, поди, с изнанки себя обнаруживает...

Повернулся солдат и отдышаться не успел, да как вдругорядь дернет: прямо из кожи рвется, локтем поддает, головой лозу буравит... Врешь, язви твою душу, — в первый раз не долет, во второй перелет, — разницей подавишься!

Достиг до первоначального места, глянул в воду, — так фуражку оземь и шмякнул. Распростерлась рыба девка под кручей, хвост в кольцо свивает, солдату зеленым зрачком подмигивает:

— С легким паром. Что ж серьгу так и не снял? Экой ты, изумруд мой, непонятливый. Камушек пососи, а то с натуги лопнешь. Сидит солдат над кручею, грудь во все мехи дышит... Стало быть, казенному сапогу так и пропадать? Покажет ему теперь фельдфебель, где русалки зимуют. Натянул он второй сапог, что для разгона снял, — слышит под портянкой хрустит что-то. Сунул он руку, — ах, бес. Да это ж губная гармония, — за голенищем она у солдата завсегда болталась... У конопатого венгерца, что мышеловки в разнос торгует, в городе купил.

Приложился с горя солдат к звонким скважинам,дохнул, слева-направо губами прошелся, — русалка так и встрепенулась.

— Ах, солдатик! Что за штука такая?

— Не штука, дура, а музыка... Русскую песню играю.

— Дай мне. Ну-ка, дай!.. Я в камышах по ночам вашего брата приманивать буду...

Ишь, студень холодный, чего выдумала! Чтоб землякам на погибель солдат же ей и способ предоставил... Однако без хитрости и козы не выдоишь. Играет он, на тихие голоски песню выводит, а сам всё обдумывает: как бы ее, скользкую бабу, вокруг пальца обвести.

— Сапог вернешь, тогда, может, и отдам...

Засмеялась русалка, аж по спине у него холодок ужом прополз.

— Сойди-ка, сахарный, поближе. Дай гармонь в руках подержать, авось обменяю.

Так он тебе и сошел... Добыл солдат из кармана леску, — не без запаса ходил, — сквозь гармонь продел, издаля русалке бросил. — На поиграй... Я тебе, — даром, что чертовка, — полное доверие оказываю. Дуй в мою голову!..

Выхватила она из воды игрушку, в лунной ручке зажала, да к губам, — глаза так светляками и загорелись. Ан, вместо песни пузыри с хрипом вдоль гармонии бегут. Само собой: инструмент намокши, да и она, шкура, понятия настоящего не имела... Зря в одно место дует, — то в себя, то из себя слюнку тянет.

— В чем, солдат, дело? Почему у тебя ладно, стежок в стежок, а у меня будто жаба на луну квохчет?

— А потому, красавя, что башка у тебя дырява... Соображения в тебе нет! Гармонь в воде набрякла, я ее всегда для сухости в голенище ношу. Сунь-ка ее в свой сапог, да поглубже заткни, — да на лунный камень поставь. Она и отойдет, соловьем на губах зальется. А играть я тебя в два счета обучу, как инструмент-то подсохнет.

Подплыла она, дуреха сырая, к камушку, гармонь в сапог, в самый носок, честно забила, — к бережку вернулась, хвостом, будто пес, умиленно виляет:

— Так обучишь, солдатик?

— Обучу, рыбка! Козел у нас полковой, дюже к музыке неспособный, а такую красавицу, как не обучить... Только, что мне за выучку будет?

— Хочешь земчугу горстку я тебе со дна добуду?

— Что ж, вали. В солдатском хозяйстве и земчуг пригодится.

Нырнула она под кувшинки, — круги так и пошли.

А солдат не дурак, — леску-то неприметную в руках дернул. Стал он подтягивать, — гармонь поперек в сапоге стала... Плюхнулся сапог в воду, да к солдату по леске тихим манером и подвалился. Вылил солдат воду, гармонь выудил, в сапог ногу вбил, каблуком прихлопнул... Эх, ты, выдра тебя загрызи!.. Ваша сестра хитра, а солдат еще подковыристее...

Обобрал заодно сачком раков, что вокруг мяса на палке кишмя кишели, да скорее в лозу, чтобы ножки обутые скрыть.

Вынырнула русалка, в ручку сплюнула, — полон рот тины, — в другой горсти земчуг белеет...

— Примай, кавалер, подарок...

Бросил он ей фуражку, не самому же подходить:

— Сыпь, милая... Да дуй полным ходом к камушку, гармонь в сапоге-то чай, на лунном свете давно высохла.

Поплыла она наперерез, а солдат скорее за фуражку, земчуг в кисет высыпал, — вот он и с прибылью...

Доплыла она, шлендра полоротая, на камушек тюленем взлезла, да как завоет, — будто чайка подбитая:

— Ох, ох! А сапог-то мой где? Водяной тебя задави-и!..

А солдат ей с пригорка фуражечкой машет:

— Сапог на мне, гармонь при мне, а за земчуг покорнейше благодарю! Танюша у нас сухопутная в городе имеется, как раз ей на ожерелко хватит... Счастливо оставаться, барышня! Раков, ваших подданных, тоже прихватил, — фельдфебель за ваше здоровье попускает...

Сплеснула русалка лунными руками, хотела было пронзительное слово загнуть, — да какая ж у нее супротив солдата словесность.

1932

МИРНАЯ ВОЙНА

За синими, братцы, морями, за зелеными горами в стародавние времена лежали два махоньких королевства. Саженью вымерять — не более двух тамбовских уездов.

Население жило тихо-мирно. Которые пахали, которые торговали, старики-старушки на завалинке толокно — хлебали.

Короли ихние между собой дружбу водили. Дел на пятак: парад на лужке принять, да кой-когда, — министры ежели промеж собой повздорят, — чубуком на них замахнуться. До чего благополучно жилось, аж скучно королям стало.

Был у них на самой границе павильон построен, чтоб далеко друг к дружке в гости не ходить. Одна половина в одном королевстве, другая в суседском.

Сидят они как-то, дело весной было, каждый на своей половине, в шашки играют, каждый на свою землю поплеывает.

Стража на поляне гурьбой собравшись, — кто в рюхи¹ играет, кто на поясках борется. Над приграничным столбом жучки вьются, — какой из какого королевства и сам не знает.

Вынул старший сивый король батист-платок, отвернулся, утер нос, — затрубил протяжно, — спешить некуда. Глянул на шашечную доску, нахмурился.

— Не ладно, Ваше Королевское Величество, выходит. У меня тут с правого боку законная пешка стояла. А теперь гладко, как у бабы на пятке... Ась?

Младший русые усы расправил, пальцами поиграл.

— Я твоим шашкам не пастух. Гусь, может, мимо пролетающий крылом сбил, али сам проиграл. Гони дальше...

— Гусь? А это что?.. — и с полу из-под младшего короля табуретки шашку поднял. — Чин на тебе большой, королевский, а играешь, как каптенармус². Шашки руками слизываеть.

— Я каптенармус?..

— Ты самый. Ставь шашку на место.

— Я каптенармус?! От каптенармуса слышу! — скочил младший король с табуретки и всю игру полой халата наземь смахнул.

Побагровел старик, за левый бок схватился, а там заместо меча чубук за пояс заткнут. Жили прохладно, каки там мечи.

Хлопнул он в ладони:

— Эй, стража!

Русый тоже распетушился, кликнул своих.

Набежали, туда-сюда, смотрят: нигде жуликов не видно. Да и бить нечем, — бердышей-пищалей давно не носили, потому очень безопасная жизнь была.

¹ Рюхи — небольшие деревянные чурки для игры в городки.

² Каптенармус — должностное лицо в воинской части, ведающее хранением и выдачей имущества, продовольствия.

Постояли друг против друга короли, — глаза, как у котов в марте, — и пошли каждый себе подбоченясь. Стража за ими, — у кого синие штаны за сивым королем, у кого желтые — за русым.

* * *

Стучат-гремят по обеим сторонам кузнецы — пики куют, мечи правят. Старички из пушек воробьиные гнезда выпихивают, самоварной мазью медь начищают. Бабы из солдатских запасных штанов моль венчиком выбивают, мундиры штопают, — слезы по ниткам так и бегут. Мужички на грядках ряды вздваивают, сами себе на лапти наступают.

Одним малым ребятам лафа. Кто на пике, заднюю губернию заголив, верхом скачет... Иные друг против дружки стеной идут, горохом из дудок пуляют. Кого в плен за волосья волокут, кому фельдшер прутом ногу пилит. Забава.

Призадумались короли, однако по ночам не спят, ворочаются, — война больших денег стоит. А у них только на мирный обиход в обрез казны хватало. Да и время весеннее, оборониться надо, а тут лошадей всех в кавалерию-артиллерию согнали, вдоль границы укрепления строят, ниток одних на аммуницию катушек с сот пять потребовалось. А отступить никак невозможно: амбицию свою каждому поддержать хочется.

Докладывает тем часом седому королю любимый его адъютант: так-то и так, Ваше Величество, солдатиска такой есть у нас завалящий, в швальне¹

¹ Швальня (устар.) — портняжная мастерская.

солдатские фуражки шьет. Молоканского толку¹, не пьет, не курит, от говяжьей порции отказывается. Добивается он тайный доклад Вашему Величеству сделать, как войну бескровно-безденежно провести. Никому секрета не открывает. Как, мол, прикажете?

— Гони его сюда. Молокане, они умные бывают.

Пришел солдатик, смотреть не на что: из себя михрютка², голенища болтаются, фуражка вороньим гнездом, — даром что сам мастер. Однако бесстрашный: в тряпочку высморкался, во фронт стал, глаза, как у кролика, — ая смотрит весело, не сморгнет.

— Как звать-то тебя?

— Лукашкой, ваша милость. "Трынчиком" тоже в швальне прозывают, да это сверхштатная кличка. Я не обижаюсь.

— Фуражки шьешь?

— Так точно. Нескладно, да здорово. А в свободное время лечебницу для живой твари содержу.

— Какую еще лечебницу?

— Галчонок, скажем, из гнезда выпадет, ушибется. Я подлечу, подкормлю, а потом выпущу...

— Скажи, пожалуйста... Добрый какой.

— Так точно. Веселей жить, ежели боль вокруг себя утишаешь.

Повел король бровью.

— Ишь ты, Чудак Иванович. А каким манером, ты вот похвалялся, — бескровно и безденежно войну вести можно.

— Будьте благонадежны. Только дозвоьте до поры до времени секрет при мне содержать, а то все засмеют, ничего и не выйдет.

¹ Молокане — одна из христианских религиозных сект.

² Михрютка (прост., пренебр.) — невзрачный, тщедушный человек.

— Да как быть-то? Ядра льют, пуговицы пришивают... Чего ж ждать-то?

— Не извольте беспокоиться. Пошлите, ваша милость, суседскому королю с почтовым голубем эстафет: в энтот, мол, вторник в семь часов утречком пусть со всем войском к границе изволят прибыть. Оружия ни холодного, ни горячего чтоб только с собой не брали, — наши, мол, тоже не возьмут... И королевскую большую печать для правильности слова приложите, только всего и расходов. — Ладно. Однако смотри, Лукашка... Ежели на смех меня из-за тебя, галчонка, подымут, — лучше бы тебе и на свет не родиться.

— Не изволь пужать, батюшка. Раз уж родился, об чем тут горевать...

С тем и вышел, голенища свои на ходу подтягивая.

* * *

Стянулись к приграничной меже войска, — кто пешой, кто конный. Оружия, действительно, как условились, не взяли. Построились стеной строй против строя. Шопот по рядам, как ветер, перекачивается. Не зубами ж друг друга грызть будут... Ждут, чего дальше будет.

Короли, насупившись, каждый на своем правом фланге на походном барабане сидит, в супротивную сторону и не взглянет.

Глядь, издалека на обозной двуколке Лукашка катит, под себя чего-то намостил, будто кот на бочке подпрыгивает.

Осадил коня промеж двух войск, скочил наземь и давай из тележки, круг за кругом, толстый корабельный канат выгружать. А вдоль каната на аршине дистанции узлы полузакручены.

Стал Лукашка на пень, ладони лодочкой сложил и во все стороны звонким голосом разъяснение дал:

— Вот, стало быть, братцы, посередке каната для заметки синий флажок завязан. Пушай каждое войско, на своей стороне в затылок стамши, за канат берется. Флажок, значит, над самой границей придется. И с Богом, понатужьтесь, тяните на перетяжку... Чья сторона осилит, канат к себе перетянет, та, стало быть, и одолела. И амбицию свою соблюдем и никакого кровопролития в золотой валюте. Скоро и чисто... Полей не перетопчем, детей не осиротим, хаты целы останутся. А уж какое королевство не одолеет, пушай супротивникам на свой кошт¹ полное угощение сделает. Всему то есть населению... Ежели господа короли согласны, нехай каждый со своей стороны батист-платочком взмахнет — и валяйте! А чтоб веселей было тянуть, пушай полковые оркестры вальс "Дунайские волны" играют. Усё.

Ухмыльнулись короли, улыбнулись полковники, оскаблились ротные, у солдат — рот до ушей. Пондравилось. Стали войска по ранжиру гуськом, белые платочки в воздухе взвились. Пошла работа! Тужатся, до земли задами достигают, иные сапогами в песок врывшись, как клюковка стали... А которые старшие, вдоль каната бегают, своих приободряют: "Не сдавай ироды, наяривай! Еще наддай!.. Наддай, родненькие, так вас перетак"...

Лукашка клячу свою отпряг, брюхом перевалился, вдоль каната разъезжает, — чтоб обману нигде не было. Увидал, как на супротивной стороне канат было об березу закрутили, чичас же распорядился: "Отставить! Воюешь, так воюй по правилу"...

¹ Кошт (устар.) — расходы на содержание.

Вспотели кавалеры, дух над шеренгой, будто портянки в воздухе поразвесили, — птички так в разные стороны и разлетелись. А народ в азарт вошел. Полковники которые, генералы, все к канату прицепились, старички некоторые, мирное население, из-за кустов повыскакивали, вонзились, каждый в свою сторону надает-тянет. Только и слышно, как штаны-ремешки с обеих фронтов потрескивают.

Короли и те не выдержали. Повскакали с барабанов, каждый к своему концу бросился... Музыканты трубы покидали и туда же...

И вдруг, братцы мои, как лопнет канат на самой середине: так оба войска гуськом наземь и попадали. Пыль винтом. Отдышавшись, озираются... Как быть?

Кличет седой король Лукашку:

— Эй, ты, Ерой Иванович! Как же теперь вышло? Кто победил-то?

А Лукашка громким голосом на всю окрестность, глазом не сморгнувши, объявляет:

— Ничья взяла. Полное, стало быть, замирение с обеих сторон. Каждый король суседское войско угощает. А на завтра, проспавшись, все, значит, по своим занятиям: кто пахать, кто торговать, кто толокно хлебать.

Ликование тут пошло, радость. Короли друг дружку за ручку трясут, целуются. По всей границе кóзлы расставили, столы ладят, обозных за вином-закусками погнали. А пока обернутся, тем часом короли в павильоне за свои пашки сели, честно и благородно.

Не все, конечно, с земли встали-то. У иных, как канат лопнул, — шаровары-брючки по швам разошлись, как тут пировать будешь. Кое-как рукой подтянувши, до кустов добрались, а там бабы, которые на сражение издали смотрели, швейную амбулаторию открыли. Известно, уж у каждой бабы в подоле нитка-иголка припасена.

Кликнули к себе короли в павильон Лукашку.

— Что ж, молодец, дело свое ты справил. Чем тебя наградить, говори, не бойся. На красавице женить, альбо дом с точеным крыльцом построить?

Высморкался Лукашка в тряпочку, во фронт стал, отвечает:

— Дом у меня везде. Где я нужен, там и мой дом. Красавицы мне не надо, из себя я мизерный, ей будет обидно. Да и мне она, человеку кроткому, не с руки. Соблаговолите лучше, Ваше Здоровье, приказ отдать по обеим королевствам, чтоб ребята птичьих гнезд не разорjali. Боле ни о чем не прошу.

Ухмыльнулись короли, обещали, отпустили его с миром. Блаженного дурака и наградить нечем...

* * *

Таким манером, землячки, сражение энто на пользу всем и пошло. У других от войны население изничтожается, а здесь прибавка немалая вышла. Потому, когда бабы по густым кустам-буеракам разбрелись, — портки полопавшие на воинах пострадавших чинить, — мало ли чего бывает. Крестников у Лукашки завелось, можно сказать, несосветимое число.

1930

БУБА

(Из книги "Несерьезные рассказы")

Вот так, в метро, никому не расскажешь. Потому что свое, кровное. В своей семье посторонний третейский судья не требуется.

Но на первой зеленой подстилке, когда в воскресенье с приятелем, с закуской и с зубровкой,

занесет тебя весенний ветер в Медонский лес, — бесоткровенности толкает человека под ребро — и покатишься... Хоть без зубровки, конечно, никакой бесничего не сделает.

И вообще, г. Глушков разговаривал как бы сам с собой. В своем случае разбирался и в таких же соседских. А кому жаловался — приятелю ли, лежавшему рядом, очками кверху, с травинкой во рту, пожилому ли каштану, подымавшему над головой толстые почки, либо пустой бутылке из-под зубровки, блестящей у канавки, — г. Глушков об этом не думал. Подводил итог, а в паузах морщился, как бы сплевывая с языка душевную полынь.

* * *

— Буба она называется, племянница моя. Хотя мы с женой, оба бесплодные смоковницы¹, имели все основания, взрастив сей парижско-русский продукт, считать ее своей дочкой... Буба... Почему она себе такую попугайскую кличку пришила, не могу понять. По метрике она Любовь. Люба, Любаша — сочное православное имя. Должно быть, для афиши. Когда она в балетные звезды выйдет, круче в нос ударит... Ну, уж назовись Лианой, Вербеной... Покудрявее. Нет-с, Буба. Игры фантазии на три копейки. Какой-нибудь португальский брандахлыст, что с ней фокстротные вензеля выводит, языком щелкнул: "Буба! Ком сэ жоли"² — и конечно... А мнение дяди — коту под стол, да ножкой в угол, подальше...

¹ Бесплодные смоковницы — крылатое выражение из Библии.

² Как это красиво (фр. *comme c'est joli*).

Лет до четырнадцати был у нее свой рисунок, даже лицей не перемолол. Русская пышка, ласковый зверек. Варенье обожала, дядю с теткой любила, все как по детской простоте полагается. Одевали мы ее чистенько. Перед зеркалом скорым петушком попрыгает, каждому бантику улыбнется. В облизанную стильность ее не бросало, что к личику, то и модно. Щечки в ямочках, ногти в заусенцах, душа — розовый ситчик. Русская девочка и больше ничего. А с пятнадцати лет пошло...

Проболтался я как-то месяца два по делам в Гренобле. Вернулся, так и присел: разменяло себя мое русское золото на конфетную бумажку. Темные волоски будто корова языком склеила, головка мертвым яичком, ямки черт унес, в глазах этакая манекенная стертость. И платьице новое с изображением — внизу тюльпан, вверху лысая рюмка. К кутюрных преискурантах¹ видали? Лицо, так сказать, второстепенная подборность к модному крою... Мизинчики на отлете, поворот плеча в брезгливую покатость, — то ли горничная, то ли герцогиня Дармштадтская, — все на один лад, как солдатики из картона... Это в пятнадцать-то лет по такому компасу равняться?

Бросился я к жене: как же это ты, слабохарактерная женщина, таким вещам потакаешь?

А что ж, говорит, делать. Девочки — обезьянки. Парижский воздух... Тут иная каплюшка в четыре года в Люксембургском саду таким дамским лилипутом выступает, что и сама не знаешь — ахать или плеваться. А Любе в Европе жить, пусть уж

¹ Кутюрные преискуранты (фр. le couturier — дамский портной) — преискуранты дамской моды.

мимикрию эту безболезненно себе прививает. Ей же потом легче будет.

Нашел я союзника, действительно.

* * *

Вижу я: во внутреннем департаменте червоточина обнаружилась. "Записки охотника" в ванной в углу валяются. Еще слава Богу, что в ванной... Журнальчики, смотрю, у нее появились парижские: кинематографические Антиной¹ на всех страницах зрчками вращают, мировых звезд к пиджакам прижимают. Пробы блестят, зубы переливаются и опять же, как пожарные солдаты, все на один салтык². Только по подписи и узнаешь, кто какого пола. Духовная пища-с!

Развернул я как-то вечером "Соборян"³, стал ей вслух отрывок читать. Пять минут вытерпела, потом, вижу, стала зевки, как устрицы, глотать, ножкой о ножку бьет.

— Что ж, скучно тебе, Люба? Ты не стесняйся.

— Вы, — говорит, — дядя, дусик, не сердитесь. Мы сегодня всей своей компанией в синема идем. "Семьсот поцелуев в минуту" смотреть. А археологию эту я, так и быть, на досуге как-нибудь потом перелистаю.

— Спасибо за одолжение. Что ж, и Татьяна пушкинская тоже по-твоему археология?

— Нет, — говорит. — Большой дифферанс⁴! Татьяна ваша сама мужчинам на шею вешалась и даже в

¹ Антиной (?—130) — греч. юноша, любимец императора Адриана, обожествленный после смерти.

² Салтык — склад, образец, лад, норов.

³ Роман Н.С. Лескова (1872).

⁴ Дифферанс (фр. difference) — разница, различие.

письменной форме. А как у нее с премьером роман не вышел, она за старого богатого маршала замуж и выскочила. И еще неизвестно, как бы она в Париже развернулась, если бы к нам сюда в эмиграцию попала... Татьяну, — говорит, — вы уж лучше из козырей ваших выкиньте.

Так я и крикнул. Ведь этак, если все классические типы к эмиграции примерять, что ж это будет?.. С женой даже посоветоваться хотел. Да эта уж... Не поймет.

* * *

А потом вот и пошло балетное это икроверчение. В студию какую-то раздевально-пластическую записалась. Науки забросила, — по физике еле ползает. В котором, говорю, году Расин родился? А она мне еще и дерзит: посмотрите в Ларуссе¹, если вам приспичило. Сами по-французски дальше молочной ни слова...

Мне, говорю, ни к чему, у меня своих русских мыслей в голове не уложишь. А ты-то как без образования на одних пуантах² в свет выпрыгнешь?..

Хохочет... По-французски она, правда, здорово чешет, — иной природный француз не поймет, что она с подругами лопочет... Но багаж-то духовный какой-нибудь нужен? Как же в одном голом трико без багажа?

Жена, разумеется, и тут поперек. За что Бубу, мол, мучишь?.. Теперь все девочки через балет в мировую карьеру выходят. Ты что ж, ее в приходские

¹ Ларусс — французский энциклопедический словарь, основанный в XIX в. П. Ларуссом.

² Пуанты (*фр.* *pointe* — острие, кончик) — танец на кончиках пальцев.

учительницы готовишь? Опоздал, милый. В Европе жить, по-европейски и выть.

И вот-с ещё и у себя в квартире терпеть должен. Мало ей студии. В пачки свои дома вырядится, — совсем стрекоза в папиросных бумажках, — и по всему паркету дражэ свое под граммофон выводит. Посмотришь из-за газеты, сердце так и закипит... Личико — марципан с вишней, интеллигентности ни на полсантима, одной ножкой над головой вертит, другой себя под мышкой подстегивает. Да еще меня, Господи помилуй, подставкой быть заставляет...

* * *

Собираются у нее подружки всякие востроносенькие, кавалеры — полётки¹ из полотеров. Пожалуйста. Милости просим! Пусть уж лучше дома флиртуют, чем по неизвестным ротондам зеленую слизь сквозь соломинку сосать...

Да и флирта-то никакого нет. Тысячелетиями занятие это держалось, а они вот прекратили. Раздеться не успеют, заведут граммофонного козла и трясутся. Оршад² попьют, отдышаться не успеют и опять под гобойный гнус плечиками трясут до упаду... Чистая маслобойка. И выражение у всех, будто воинскую повинность отбывают.

Присядешь к ним, когда уже совсем упарятся. Поговорить хочется, ведь не ихтиозавр³ же я, не зубр беловежский. Ни черта не выходит. То ли я к ним

¹ Полетки — погодки, т.е. имеющие разницу в возрасте в один год.

² Оршад — прохладительный напиток с добавлением миндаля и сахара.

³ Ихтиозавры — подкласс вымерших морских пресмыкающихся хищников.

ключ потерял, то ли и ключа никакого нет. Лупят что-то свое французское, по глазам вижу — не разговор, а семечки. А Буба губы сожмет и все бровью на дверь показывает: ушли бы, мол, дядя, — и без вас мебели много...

Только тогда сердце и отогреешь, когда они, как дети, порой играть начнут: сядут все на пол, друг за дружкой... руками гребут и хохочат... Какие уж тут, думаю, "Соборяне", хоть искры-то детские в них, слава Богу, не погасли...

* * *

А время летит. Не успели обои в столовой сменить, как ей шестнадцать стукнуло.

Говорю ей как-то в тихую минуту:

— Что ж, Люба, мечты наши старые? Уставать стал, как самовар несменяемый который год киплю. Мечтал с тобой, помнишь, ферму миниатюрную под Тулузой присмотреть... Переехали бы втроем с теткой — райские цветы разводить. Во Франции на цветы спрос, как на картошку. И лирика, и польза... Угомонилась бы ты, в зеленую жизнь бы вошла. А там какие-нибудь скорострельные агрономические курсы окончишь, хозяйство бы свое чудесно вела... Что ж, Люба, так уж точку и ставить ради прыжков твоих резиновых? Я ж понимаю, другие ради хлеба завтрашнего ноги себе выламывают, а тебе-то зачем?..

Встала она на носок, вокруг себя трижды спираль обернула, на пол воздушным шаром осела, — головка, как факирская кобра, покачивается, — и прошипела:

— Коров доить? Мне?! Бубе Птифру¹?.. Комик вы, дядя...

¹ Птифру (фр. petit — маленький, le frou — щеголь)— щеголек.

И журнальчик какой-то паршивенький из-за пазушки вынула, мне протягивает. Сняли ее там, видите ли... На пензенском вечере за пластику она почетное звание получила: королевой пензенского землячества избрали. Шутка ли: карьера какая...

Ну, понял я окончательно: кто этого яда хлебнул, какая уж там ферма. Пусть сам бабельмандебский раджа белых слонов пришлет — и то не поедет.

С той поры и не заикаюсь. А то, не дай Бог, и жена за ней, в пачки нарядившись, начнет паркет натирать. Ничего. Придет мое время... Вот, когда тебя балетная поденщина подшибет, когда из пензенских королев в сто двадцать девятый мюзикхолльный сорт попадешь, тогда о дяде вспомнишь...

Басня-то "Стрекоза и Муравей" недаром написана. Только дядя-то, пожалуй, помягче муравья окажется, когда к нему взамен Бубы Птифру — родная племянница Люба Глушкова соблаговолит личико свое повернуть...

1931





ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН (1884—1937)

Дореволюционное творчество Е.И. Замятина развивалось в традициях реализма, писатель живописует в гротескно-сатирических тонах утробный зоологический быт русского провинциального мещанства, показывает, как буржуазная цивилизация превращает человека в машину.

Послереволюционное творчество писателя преимущественно проникнуто глубоко отрицательным, пессимистическим отношением к происходящему. Многочисленные фантастико-аллегорические, стилизованные рассказы, сказки-притчи и драматические "действия" гротескно преломляют события эпохи военного коммунизма и гражданской войны. Его роман "Мы" большинство современников справедливо восприняло как памфлет на социалистический строй, однако антиутопия Замятина — это и сатирическое изображение "технократического" общества будущего вообще.

В 1932 году Евгений Замятин был вынужден эмигрировать. Умер в Париже.

Замятин умеет дать один "экономный" образ вместо пространного описания всего предмета, который обрисовывается им часто не по своему главному признаку, а по второстепенному. Образ мира в его произведениях имеет предельно обобщенное, "космическое" значение. Конкретные исторические события писатель рассматривает в глобальном

масштабе, стремясь выявить их далеко идущие последствия.

Литературовед О. Михайлов пишет: "Верный ученик Гоголя и одновременно писатель, воспринявший заветы Лескова в сфере языкотворчества, чуткий к национальным истокам, наделенный острым ощущением социальных противоречий и пытавшийся, подобно любимому им Уэллсу, отразить их в фантастико-аллегорической форме, Замятин лучшими своими произведениями вошел в историю отечественной словесности".

БОГ

(Сказка)

Было это царство богатое и древнее, славилось плодородностью женского пола и доблестью мужского. А помещалось царство в запечье у почтальона Мизюмина. И был такой таракан Сенька — смутьян и оторвяжник первейший во всем тараканьем царстве. Тараканихам от Сеньки — гроходу нет; на стариков ему начихать; а в бога — не верит, говорит — нету.

— Да как же нету, бесстыжие твои глаза? Ты при свете вылезь да зеньки разинь. А то, ишь ты: не-ету...

— А что ж, и вылезу, — хорохорился Сенька.

И вылез однажды. Вылез — и ахнул: бог-то ведь есть и правда! Вот он, вот: грозный, нестерпимо-огромный, в розовой ситцевой рубашке, бог...

А бог, почтальон Мизюмин, чулок вязал: любил он этим рукомерлом позаняться в сверхурочное время. Увидал Сеньку Мизюмин — обрадовался:

— А-а, друг сердечный, таракан запечный, откуда ты, здравствуй!

Почтальону Мизюмину нынче выговориться обязательно надо, а больше, как с Сенькою, не с кем.

— Ну, брат Сенька, женюсь я. Невеста — первый сорт. Пойми ты, тараканья душа: девица — из благородных, и приданого полтораста рублей! Ох, и заживем же мы с тобой! Заживем, Сенька? А?

А Сенька от умиления глаза как вылупил — так и остался: все слова позабыл.

У Мизюмина свадьба — на Красную Горку¹, и заказала ему благородная невеста, чтоб до свадьбы обязательно купил себе новые калоши. А то чистый срам: уж который год носит Мизюмин отцовские кожаные скробыхалы номер четырнадцатый. И как только Мизюмин на улицу — сейчас же за ним мальчишки:

— Э! Э! Скробыхалы! Скробыхалы! Держи! Скробыхалы! Держи! Скробыхалы!

Навязал Мизюмин чулок — и на Трубную пошел: чулки продать — новые калоши купить. Подвернулись Мизюмину щеглы в клетке: не щеглы — загляденье.

— Сем-ка я лучше щеглят куплю? Калоши-то еще крепкие...

Купил клетку, поднес невесте в презент:

— Вот чулки связал — продал, щеглят вам купил. Не побрезгуйте уж: от чистого сердца.

— Ка-ак? Чулки? И опять в скробыхалах? Ну, не-ет, терпенья моего больше нету. Подумать только: за чулочника замуж! Не-ет, нет, и никаких разговоров!

Прогнала Мизюмина с глаз долой. Надрызгался в трактире Мизюмин, вернулся домой пьян-пьянехонек, за стены держится...

¹ Красная Горка — церковный праздник, первое воскресенье после Пасхи.

А на стене — ждал бога таракан Сенька: умиленно слушать, как всякий вечер, что скажет бог.

Горькими слезами хлюпал, шарил рукой по стене почтальон Мизюмин. И ненароком как-то задел пальцем Сеньку, полетел Сенька торчмя головой в тартарары бездонные.

Очнулся: на спинке лежит. Берега — гладкие, скользкие; глубь — страшная. Еле-еле, далеко где-то, потолок виден...

И взмолился Сенька своему богу:

— Вызволи, помоги, помилуй!

Нет, глубь такая — богу, должно быть, не достать, так тут и сгинешь...

...Горькими слезами хлюпал почтальон Мизюмин, подолом розовой рубашки утирал нос.

— Сенька, Сенюшка, один ты у меня остался... И где же ты... И куда ж я тебя, милый ты мо-ой...

Нашел Сеньку Мизюмин в своем скробыхале. Пальцем выковырнул Сеньку из бездны — скробыхала номер четырнадцать — и на стену посадил: ползи. Но Сенька даже и ползти не может, прямо очумел: до чего нестерпимо велик бог, до чего милосерд, до чего могуществен!

А бог, почтальон Мизюмин, хлюпал и подолом розовой рубашки утирал нос.

1915

ПИСЬМЕННО

Дарьин отец в Дону закупался. Пospорил с пушкарскими, что всех в воде пересидит, и правда, пересидел, да тут же и кончился. Стали жить вдвоем с матерью, а без мужика в доме — что уж за жизнь: одно горе необрядимое.

Терпела-терпела, да и говорит Дарье мать:

— Ну, Дарья, иди за Еремея корноухого замуж. Теперь привереды-то эти нам не к лицу. Отбарствовали, будет...

Еремей — вдовой, из мещан пушкарских. Лицом — черный, волосатый, чисто окаяшка. А глянет — так Дарью инда одернет всю. А одного уха нету: во сне, шутки ради, ему обрезали. Ну, против материнной воли куда же? Поплакала-поплакала Дарья да и пошла к венцу.

Утром в мужнином доме Дарья первый раз прибирала косы под бабий платок. Косы — русые, длинные, красота, под платок не лезут никак, и руки не слушаются — ночью замучилась. Не стерпела Дарья, пала на лавку, да в голос.

А Еремей за столом сидел, вино пил: от вчерашнего осталось. Как кулаком брякнет об стол:

— С первого дня кричать? Ты по ком кричишь, а? Замолчи! Сейчас чтобы засмеялась! Смеись, ну?

А как засмеешься, когда в три ручья слезы?

— Смеись, говорю! Не хочешь? — да за волосы Дарью, и потуда таскал, покуда и вправду не стала смеяться смехом смертным, исходным.

Так и пошло бабье бедованье. То была Дарья разбитная, бойкая, а теперь — вроде мыши: все норовит в угол забиться, уйти от еремеевых глаз волчиных, от рук железных.

Только и отдыху Дарье, когда Еремей уедет по своим делам. Уедет — обязательно Дарью на ключ замкнет. Ну, да это уж пусть: зато отоспится, и поплачет всласть, и девичью песню вспомнит, протянет тихонько.

И день, и два, Еремея нету.

— Эх, если бы, окаянный, застрял где-нибудь... Заколодило бы его, прихлопнуло бы. Богородица

дево, мать пресвятая, угомони ты его, расшиби окаянного...

А он — легок на помине — сейчас в дверь стукнет. Избитый, в синяках весь — еще страшнее.

— Ты что ж, мне не рада? Опять мокроглазая? Ну, погоди, дай тулуп сыму... — и пошло писать...

Ярмарками — у Еремея дела самые главные. Цыгане какие-то, маклаки с красными платками шейными. Шушукуют, шепчутся, по рукам бьют. И к ночи — как помелом вымело: и гости все, и хозяин сам со двора.

Утром Дарья с ведрами выйдет — глядь, в закуте лошадь привязана. Батюшки мои, да когда ж это?

А Еремей уж тут:

— Ну, чего, как баран на новые ворота? Вчера купил...

Через два, через три дня приезжал из Моршанска старовер Капитон Иваныч. Тряс бородой козлиной, торговался, хлопал лисьим картузом об стол. Ночью уводил еремееву новопкупку.

Незадолго до Благовещения посчастливилось Еремею корноухому: ночью привел целую тройку лошадей, да каких еще. Прикатил старовер, сбежались маклаки в красных шейных платках. А уж сколько тут на радостях пито было — того и не счесть.

Шум, гам, гвалт, от "собачьих ножек" дым зеленый. Один Еремей пил молча, будто только сам себя слушал. И всё гуще срастались у него брови, всё чугунел.

Старовер козлобородый с вина ярился, наскакивал на всех:

— Табашники! Накурили дьязолу-то! Ваша троица — в табаке роется! Щепотники! Зверю десятирожому служите!

Но старовера не слушали: рыжий маклак божился, что был у него в прошлом году подсед¹, — все рыжего совестили:

— Подсе-ед! Эх, ты, естество! Бабка-то² у тебя есть, копыто есть?

Рыжий уж сам сапоги снимал — бабку показывать. А старовер лисьим картузом вертел под самым носом у Еремея:

— Мошкара, мещанинишки! Да я вас со всем барахлом и с женками покуплю... Дашка, сюды! Подь сюды, говорю... — за подол поймал Дарью, облапил — и к себе на колени.

А у Дарьи ноги, как из охлопьев, подгибаются и ни крикнуть, ни охнуть, и кого-то сейчас Еремей...

Чугунный, от тяжести очень медленный, встал Еремей, снял со стены безмен³.

— Хек! — по башке старовера. — Хек-хек! — хекал, как дровосек добрый, рубил разом — за ухо корноухое, за Дарью, за всю свою жизнь...

Одна в избе. Старовера сволокли на кладбище, Еремей — в остроге. Керосин в лампе всю ночь жгла, с головой укрывалась Дарья: жуть одолела, тоска.

А раз утром окно раскрыла: черемуха расцвела, стоит в ризке белой — белица, из монастыря вырвалась, рада-радешенька белому. А на черемухе воробьи верещат.

Как проснулась Дарья — вдруг поняла, что ведь теперь одна-одинешенька, вольная...

¹ Подсед — трещина в копыте или близ него у лошадей.

² Бабка — часть конской ноги, лодыжка.

³ Безмен — ручные весы с неравным рычагом.

— Слава тебе, владычица, прибрала окаяшку корноухого!

Да платок бабий — долой, да косы — наружу.

— А вот не хочу за водой идти: в лес пойду... — и в лес залилась.

— Ты бы, Дарья, в остроге-то его проведала, — Дарью корила мать.

А Дарья только фыркала:

— Вот щё, дюже мне нужно! Еще шкрыкнет чем, душегуб!

Осенью Еремея судили. Присяжные — мужики да мещане, народ твердый. Припомнили Еремею и конокрадство, и всё: закатали на каторгу.

Тут уж у Дарьи — вся тягота с плеч долой... То всё еще боялась: ну-кось, из острога сбежит, ну-кось, отпустят его. А теперь дело верное. Выкинула из головы Еремея, как сор из избы.

Жизнь травяная, медленная. Думаешь — лет пять обернулось, а всего год прошел. И уж быльем поросло, уж видывали задонского Савоську у Дарьи в палисаднике, уж приговаривали.

И на самое Благовещение, когда полетели из клеток щеглы, случилось неожиданное: почтальон принес Дарье письмо.

Неграмотна Дарья, отроду писем не получала. Дождалась Савоську. Савоська ей прочел.

”Кланяюсь вам, милая супруга Дарья Никитишна, от лица земли и до ног ваших. А еще прошу письменно прощенья за вашу жизнь, сапоги мои разваливши, и работаем босиком подземно. И погиб я, через что вы меня не призрели сердцем, и бесперечь письменно плачу и вас вспоминаю...” — а конца и не слышала Дарья, так ее пронзило письмо.

Савоська егозил, вертелся, смешки подпускал.

— Да уйди ты, ради Христа. Мне обдуматься надо, а ты...

Думала всю ночь, и неделю думала, и никак обдумать не могла.

...Сапоги развалимши... подземно... и бесперечь письменно плачу...

”Дура ты, дура: ну какого рожна тебе надо. Унесла владычица изверга, ну чего ты еще?”

Опять черемуха под окном расцвела, воробьи верещат — а не легче всё. Ноет сердце и ноет, проснется Дарья, вся подушка в слезах...

Уговорилась Дарья с Савоськой: в воскресенье, на гулёный день, на прожитье переехать к Савоське.

”Малый молодой, веселый. Переехать — и вся дурь из головы вон”.

На гулёный день в тарантасе — было бы куда все дарьины манатки забрать — подкатил Савоська. Уж у Дарьи уложено всё.

— Ну, Савося, сейчас. Ты мне только письмо напиши.

Села Дарья на лавку. В окно поглядела — на край света. Пригорюнилась.

— Ну, пиши. ”Любезный наш дружечка, Еремей Василич. На кого же вы нас покинули и как жить без вас будем. А еще кланяюсь вам с любовью от лица земли и до неба, сапоги купила вчерась, и как есть все ночи не сплю. А еще кланялась вам...”

Послушно Савоська всё, как Дарья велела, до конца писал. Написал, вслух прочел.

Как зальется Дарья, как заголосит. Голосила-голосила да в ноги Савоське:

— Савосюшка, милый! Прости меня, Христа ради. Не могу я к тебе поехать.

Мочи моей нет, сердце изошло... В Сибирь поеду...

Дуры бабы, ах, дуры! Поплелся домой Савоська в своем тарантасе один.

1916

АРАПЫ

На острове на Буяне — речка. На этом берегу — наши, краснокожие, а на том ихние живут, арапы.

Нынче утром арапа ихнего в речке поймали. Ну так хорош, так хорош: весь — филейный. Супу наварили, отбивных нажарили — да с лучком, с горчицей, с малосольным нежинским... Напитались: послал господь!

И только было вздремнуть легли — воп, визг: нашего уволокли арапы треклятые. Туда-сюда, а уж они его освежевали и на угольях шашлык стряпают.

Наши им — через речку:

— Ах, людоеды! Ах, арапы вы этакие! Вы это что ж это, а!

— А что? — говорят.

— Да на вас что — креста, что ли, нету? Нашего, краснокожего, лопаете. И не совестно?

— А вы из нашего отбивных не наделали? Энто чьи кости-то лежат?

— Ну что за безмозглые! Да-к ведь мы вашего арапа ели, а вы — нашего, краснокожего. Нешто это возможно? Вот дайте-ка, вас черти-то на том свете поджарят!

А ихние, арапы, — глазищи белые вылупили, ухмыляются да знай себе — уписывают. Ну до чего бесстыжий народ: одно слово — арапы. И уродятся же на свет этакие!

1920

ВЕРЕШКИ¹

НА ДИВАНЕ

Внизу, по обе стороны рельс, врезана лента синего неба: река. И в синем — глиняно-красные от солнца адамы и кони: бух! — и брызжет взорванная радуга, водяные верешки сверкают и слепят, и от дерзкого ржанья — как от кнута — красный след через всё небо.

А мы — на диване. Удобные, одинаковые люди; удобные диваны; чуть душный, чуть надушенный, удобный воздух.

Господи, если бы свихнулся с рельс поезд, если бы торчмя головой чебурахнулся вниз, к глиняно-красным коням и адамам!

ЗВЕРЯТА

Медленно и неуклонно ползут каменные здания, как стадо черепах. Осенний ветер оплетает свои мокрые волосы вокруг решетки с копытами наверху.

А за решеткой — представление в зверинце. Вертятся фонари, погремушки, морды и лица. За решеткой — зверята. Жарит музыка плясовую.

— А ну, как веселые ребята пляшут? А ну, как молодухи зубы скалят?

Пляшут, зубы скалят, веселье.

А когда уйдут все — просунут зверята меж прутьев морды, смотрят вдаль — на далекий огонь, и осенний ветер хлещет их мокрыми волосами в глаза.

¹ Верешки (устар., нареч.) — осколки, обломки, черепки.

ТРАМВАЙ

Сверкает, гремит трамвай, народу полнѐхонек, едут в театр.

А у самой двери — сидит мальчишечка, хорошенький такой, голубоглазенький. И у него — ухо надорвано, кровь из мочки бежит. Нет-нет да и вытрет грязным платком то ухо, то глаза, то опять ухо.

Смирнѐхонько сидит голубоглазый мальчишка — так смирно, что никто его и не видит.

И сверкает трамвай, полон народу: едут в театр.

СНЕГ

Всю ночь — снег с неба. К утру — земля вылечится. К утру из насквозь процелованной — снова станет застенчивой синеглазкой с длинной косой, и всё — удивленное, новое, всё — сначала: только дожить до утра.

Утро. Синий снег — весь изляпан сапожищами.

<1916, 1918>

ВСЕ

В среду 7 февраля, на углу Литейного и Шпалерной, инженер Хортик разделился надвое.

В среду 7 февраля на Литейном — так, должно быть, секунду или две — трамвай звонил в немой, никому не слышимый звонок, автомобили катились на немых шинах, люди шли в немых сапогах. Секунду или две всё немое, как ночью в лесу, и так остро слышно — хрясь! — хворост под чьей-то лапой; и еще раз — хрясь!

Тотчас же из ночного леса на Литейном — радостный мальчишеский крик: "Стреляют!" — и Литейный, вместе с Хортиком и радостным мальчишкой, зазвенел, помчался, затопал к Шпалерной. Там, на углу Литейного и Шпалерной, лежал на снегу человек — как-то ненастояще, плоско: стриженная черная голова — с выеденным седым пятачком на темени — и пальто, пустое, приплюснутое к снегу.

Сквозь литейную толпу пронырнул радостный конопатый мальчишка и весело крикнул Хортику (именно ему, — Хортику это было ясно):

— Воряга! Карманник! Товарищи красноармейцы сейчас расстреляли!

Откуда-то дровни, на дровнях четыре красноармейца с винтовками на веревочках через плечо. Соскочили, подняли стриженного с седым пятачком — "Ну-у!.. раз! Так!" — плюхнули на дровни. Стриженная голова брякнула о грядущку¹. И тот из четырех, который стоял у грядущки, отскочил в сторону, стал отряхивать полы шинели.

— Ха! Голова-то! Голова раскупорилась! Чисто из бутылки! — ощерился конопатый мальчишка перед Хортиком.

Хортик взглянул: от удара о грядущку кровавая пробка выскочила, и на снег лилось из головы красное вино.

Сердце ёкнуло, оторвалось от ветки — и вниз, вниз — медленным, спелым осенним листом вниз, туда, где вокруг дровней стояли четверо с ружьями на веревочках и конопатый мальчишка, и с вытянутыми шеями литейные люди, и с вытянутой шеей Хортик.

¹ Грядущка (диалектн.) — облучок.

Инженер Хортик разделился надвое и сверху — ясно увидел всё это там внизу — себя, свое чужое бритое, медально-петербургское лицо. И понял — нет, не то; почувствовал телом, что он, верхний Хортик, — это все вытянувшиеся люди там, внизу, и он — этот радующийся, конопатый мальчишка, и он — этот стриженный с раскупорившейся головой. И на него — там, внизу — четверо накинули рогожку, сели как на бычью тушу и заскрипели по снегу.

А когда они завернули за угол, и весь клубок литейных людей вместе с инженером Хортиком вздохнул разом — все стало обычно-литейным, и Хортик теперь был один — всегдашний Хортик. И как все — он радостно, молча кричал: "Не я! не меня! Меня не увезли. Я — вот — иду, вот! вот!"

Шагал по Литейному крепко, ново, металлически. Крепко прикладывал к талому снегу свою печать — елочку новых калош. Обеими руками забирал себе синее по-весеннему небо, солнечные морковки сосуллек, афишу "Прощальный бал броневиков", тонкие в белых чулках ножки барышни впереди.

"Не меня... А я иду... Я не умру. Невероятно, чтобы я, потому что я — синее небо, афиши, сосульки... И потому, что сегодня ночью..."

Сердце опять ёкнуло, но уже по-другому; теперь оно было — весенний упругий лист, и впереди — май, бесконечное лето... И нацелившись, Хортик упруго, мягко взлетел от земли, обогнал, летя, каких-то угрюмых людей, ухватился за поручень и на густо обвешанной трамвайной подножке помчался к сегодняшней ночи, к маю, к бесконечному лету...

<1922>

ДЕСЯТИМИНУТНАЯ ДРАМА

Трамвай № 4, с двумя желтыми глазами, летел сквозь зиму, ветер, невскую ледяную тьму. Внутри было светло, две розовые комсомолки спорили об оппозиции, дама везла в корзиночке щенка — добермана, кондуктор тихо беседовал с бывшим старичком о боге. Никто, кроме меня, не подозревал, что сейчас они забудут обо всем — об оппозиции, о добермане, о боге — и сделаются статистами моего рассказа, с волнением ожидающими, чем кончится десятиминутная трамвайная драма.

Начало драмы возвестил кондуктор церковным возгласом:

— Бывшая Благовещенская площадь — площадь Труда!

В этом возгласе — как в прологе — символически уже раскрывалась основная коллизия: с одной стороны — труд, с другой — явно нетрудовой элемент в виде архангела Гавриила, с неожиданным известием представшего деве Марии.

Кондуктор отодвинул дверь — и в вагоне появился прекрасный молодой человек с номером московских "Известий" в руках. Молодой человек сел напротив меня, подтянул на коленях нежнейшие гри-перловые брюки, протер платком и снова надел очки. Они были, конечно, круглые, американские, с заложенными за уши черными оглоблями. В этой упряжи одни становятся похожи на доктора Фауста, другие — на беговых рысаков. Прекрасный молодой человек был рысаком, он нетерпеливо постукивал в пол лакированным копытом: нужно было вовремя поспеть на Васильевский к полудеве Марии, а кондуктор, как нарочно, не давал звонка.

Кондуктора нельзя винить: он не мог отправить дальше трамвай, пока в вагоне появится

второй элемент драмы. И вот, наконец, этот элемент вошел.

Растопырив ноги в валенках, он непрочно стал посередине вагона. Никому, кроме него, не осязаемое — под валенками происходило крымское землетрясение в три-четыре балла. Покачиваясь, кружась — блаженно плыл перед ним чудесный мир, розовые комсомолки, крошечный доberman.

— Тютюка, тютюка... тютёчек... — нагнулся он погладить доbermanа, но землетрясение подкосило его, и он плюхнулся со мной рядом — как раз напротив лакированного молодого человека.

— Нну и... нну и выпил, — сказал он. — Потому у меня... существует полное право... Вот они — мозоли... шуществуют... глядите!

Он показал трамвайной аудитории руки — и тем избавил меня от необходимости описывать его социальное происхождение. Всё и без того ясно — и ясно, что этот сосед с мозолями и лакированный молодой человек не случайно посажены друг против друга волею судьбы и моей.

У молодого человека сверкали очки, у моего соседа зубы. Зубы у него были белые, крепкие — от ржаного хлеба, от мороза, от улыбки. Он путешествовал по лицам своей улыбкой, он проплыл, чуть покачиваясь, мимо розовых комсомолок, кондуктора, корзинки с доbermanом — и остановился, привлеченный блеском американских очков. Упершись руками в колени, он долго глядел на запряженного в очки молодого человека, всё шире улыбался — и, наконец, выпалил в полном восторге:

— Ну до чего хорош, а? Штанцы-то, штанцы-то одни чего стоят! А очки... а штилеты... глядите, а? Красавчик ты мой... эх!

Комсомолки фыркнули. Красавчик побагровел, рванулся в своей упряжи, но тотчас же вспомнил, что

ему, архангелу с Благовещенской площади, не подобает связываться с мастеровым. Он сжал губы и нагнул дышло своих очков над газетой.

Мастеровой все так же, не отрываясь, глядел в очки. Мир, кружившийся у него в голове, как земля вокруг солнца, совершил полный оборот, солнце там уже заходило, зашло, он сразу перестал улыбаться, зубы у него потемнели. С минуту он молчал, как ночь.

— А и бить же мы вас, сволочей, будем! — вдруг сказал он прекрасному молодому человеку. — Ты — кто? — Ты — член капитала, вот ты кто! Будто газету читаешь — будто я тебе не шуществую? А вот как я тебя сейчас тресну по очкам — вот тогда и... и это самое...

Газета на коленях у красавчика вздрогнула. Он понял, что его василеостровское счастье погибло: в крови, синяках — он уже не сможет явиться своей Марии. Двадцать трамвайных глаз взволнованно ждали развязки. Она приближалась, мастеровой встал, вынул из кармана руку...

Здесь по ходу драмы нужна была пауза, чтобы нервы у зрителей натянулись, как струна, — и эту паузу немедля заполнил кондуктор: он торопился от трамвайной двери к месту действия — исполнить долг христианина и главы пассажиров.

— Гражданин, гражданин... не полагается! — сказал он мастеровому.

— Ты... лучше не суйся! — обернулся к нему мастеровой. Кондуктор попятился, качнулся: трамвай стал.

— Большой проспект — проспект Пролетарской Победы! — пробормотал кондуктор, прижавшись к дверям.

— Большой? Мне сходить... Ну только не-ет: я еще не сойду! Я — шуществу-ую! — мастеровой нагнулся к

американским очкам — и всем стало ясно: он уйдет не раньше, чем разрешит напряжение какой-то катастрофой. Дама с доберманом вскочила, комсомолки открыли рот, "Известия" на гри-перловых брюках трепетали.

— Ну-ка ты... подними... личико... — сказал мастеровой.

Прекрасный молодой человек покорно поднял запроженное в очки лицо и зажмурился. Трамвай стоял, окаменевший кондуктор не мог позвонить. Мастеровой утвердил на полу свои валенки, поднял над членом капитала руку.

— Ну, — сказал он, — сейчас уйду я и, может, больше тебя никогда не встречу... Но только на прощанье...

Кондуктор, не дыша, не спуская глаз, потянулся к звонку.

— Не смей! — крикнул мастеровой. — Дай кончить!

Кондуктор замер. Мастеровой секунду покачался, как будто прицеливался — и потом кончил:

— На прощанье... Красавчик ты мой — ну дай я тебя поцелую!

Облапил молодого человека в очках, чмокнул его в губы и вышел из вагона.

Секундная пауза — и взрыв: весь вагон затрясся от хохота и, подскакивая на стрелках, полетел дальше сквозь зиму, ветер, невскую ледяную тьму.

<1928>





МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ

(1891—1940)

М.А. Булгаков — один из выдающихся русских прозаиков XX века. Его проза и драматургия — это самоценный мир, в котором участь и психология белого движения уживается с судьбой художника — Мастера в современном мире, а гротескное изображение этого мира становится наиболее четкой и правдивой его характеристикой, глубочайшие философские вопросы, поиски истины соседствуют с необычайным остроумием, блеском фантазии. Булгаков умеет ловко "закрутить" занимательный сюжет, но в занимательности этой никогда не идет против правды.

Неповторим булгаковский стиль мысли и слова. Его прозу часто называют "быстрой" — строящейся на сцеплении коротких остроумных фраз. Булгаков-сатирик обращается к опыту классиков, ценнейшим из которых был для него гоголевский. В рассказах он — обаятельный, веселый, бывалый собеседник-интеллигент, умеющий смешно рассказать о весьма печальных обстоятельствах, собеседник, не потерявший дар удивляться превратностям судьбы и людским причудам.

Не все современники поняли писателя. Ф. Гладков, упоминая среди других авторов и Булгакова, высказал наиболее официозную и официальную точку зрения на его творчество: "Мне горько, мне невыносимо от

их, извините за выражение, блевотины, которую они изрыгают на наше "бытие".

Одни не видели, а другие не хотели видеть замечательный юмористический талант Булгакова, талант, который позволил ему искать "истину" (главная цель его творчества!) не только в "Мастере и Маргарите" или в "Белой гвардии", но и в "Роковых яйцах", и в "Собачем сердце"... В одном из сатирических произведений писатель с горькой иронией сказал: "Только через страдание приходит истина... Это верно, будьте покойны! Но за знание истины ни денег не платят, ни пайка не дают... Печально, но факт".

ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА

*Поэма в X пунктах
с прологом и эпилогом*

— Держи, держи, дурак! — кричал Чичиков Селифану.

— Вот я тебя палашом! — кричал скакавший навстречу фельдъегерь с усами в аршии. — Не видишь, леший дери твою душу, казенный экипаж.

Пр о л о г

Диковинный сон... Будто бы в царстве теней, над входом в которое мерцает неугасимая лампада с надписью "Мертвые души", шутник сатана открыл двери. Зашевелилось мертвое царство, и потянулась из него бесконечная вереница.

Манилов в шубе, на больших медведях, Ноздрев в чужом экипаже, Держиморда на пожарной трубе,

Селифан, Петрушка, Фетинья... А самым последним тронулся он — Павел Иванович Чичиков в знаменитой своей бричке.

И двинулась вся ватага на Советскую Русь, и произошли в ней тогда изумительные происшествия. А какие — тому следуют пункты...

I

Пересев в Москве из брички в автомобиль и летя в нем по московским буеракам, Чичиков ругательски ругал Гоголя:

— Чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под обоими глазами по пузырью в копну величиною! Испакостил, изгадил репутацию так, что некуда носа показать. Ведь, ежели узнают, что я — Чичиков, натурально, в два счета выкинут к чертовой матери! Да еще хорошо, как только выкинут, а то еще, храни Бог, на Лубянке насидишься. А всё Гоголь, чтоб ни ему, ни его родне...

И, размышляя таким образом, въехал в ворота той самой гостиницы, из которой сто лет тому назад выехал.

Всё решительно в ней было по-прежнему: из щелей выглядывали тараканы, и даже их как будто больше сделалось, но были и некоторые измененьца. Так, например, вместо вывески "Гостиница" висел плакат с надписью: "Общежитие №такой-то", и, само собой, грязь и гадость была такая, о которой Гоголь даже понятия не имел.

— Комнату!

— Ордер пожалте!

Ни одной секунды не смутился гениальный Павел Иванович.

— Управляющего!

— Трах! — управляющий старый знакомый: дядя Лысый Пимен, который некогда держал "Акульку", а теперь открыл на Тверской кафе на русскую ногу с немецкими затеями: аршадами¹, бальзамами и, конечно, с проститутками. Гость и управляющий облобызались, шушукнулись, и дело уладилось вмиг без всякого ордера. Закусил Павел Иванович чем Бог послал, и полетел устраиваться на службу.

II

Являлся всюду и всех очаровал поклонами несколько набок и колоссальной эрудицией, которой всегда отличался.

— Пишите анкету.

Дали Павлу Ивановичу анкетный лист в аршин длины, и на нем сто вопросов самых каверзных: откуда, да где был, да почему?..

Пяти минут не просидел Павел Иванович и исписал анкету кругом. Дрогнула только у него рука, когда подавал ее.

— Ну, — подумал, — прочитают сейчас, что я за сокровище, и...

И ничего ровно не случилось.

Во-первых, никто анкету не читал, во-вторых, попала она в руки к барышне-регистраторше, которая распорядилась ею по обычаю: провела вместо входящего по исходящему и затем немедленно ее куда-то засунула, так что анкета как в воду канула.

Ухмыльнулся Чичиков и начал служить.

¹ Аршад — прохладительный напиток.

А дальше пошло легче и легче. Прежде всего, оглянулся Чичиков и видит: куда ни плюнь, свой сидит. Полетел в учреждение, где пайки-де выдают, и слышит:

— Знаю я вас, скалдырников¹: возьмете живого кота, обдерете, да и даете на паек! А вы дайте мне бараний бок с кашей. Потому что лягушку вашу пайковую мне хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот и гнилой селедки тоже не возьму!

Глянул — Собакевич.

Тот, как приехал, первым делом двинулся паек требовать. И ведь получил! Съел и надбавки попросил. Дали. Мало! Тогда ему второй отвалили; был простой — дали ударный. Мало! Дали ему какой-то бронированный. Слопал и еще потребовал. И со скандалом потребовал! Обругал всех хриstopродавцами, сказал, что мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет и что есть один только порядочный человек делопроизводитель, да и тот, если сказать правду, свинья!

Дали академический.

Чичиков, лишь увидел, как Собакевич пайками орудует, моментально и сам устроился. Но, конечно, превзошел и Собакевича. На себя получил, на несуществующую жену с ребенком, на Селифана, на Петрушку, на того самого дядю, о котором Бетрищеву рассказывал, на старуху мать, которой на свете не было. И всем академические. Так что продукты к нему стали возить на грузовике.

А наладивши таким образом вопрос с питанием, двинулся в другие учреждения, получать места.

¹ Скалдырники (прост., устар.) — то же, что скряги, сквалыги.

Пролетая как-то раз в автомобиле по Кузнецкому, встретил Ноздрева. Тот первым долгом сообщил, что он уже продал и цепочку, и часы. И точно, ни часов, ни цепочки на нем не было. Но Ноздрев не унывал. Рассказал, как повезло ему на лотерее, когда он выиграл полфунта постного масла, ламповое стекло и подметки на детские ботинки, но как ему потом не повезло и он, канальство, еще своих шестьсот миллионов доложил. Рассказал, как предложил Внешторгу поставить за границу партию настоящих кавказских кинжалов. И поставил. И заработал бы на этом тьму, если б не мерзавцы англичане, которые увидели, что на кинжалах надпись "*Мастер Савелий Сибиряков*", и все их забраковали. Затащил Чичикова к себе в номер и напоил изумительным, якобы из Франции полученным, коньяком, в котором, однако, был слышен самогон во всей его силе. И наконец, до того доврлся, что стал уверять, что ему выдали восемьсот аршин мануфактуры, голубой автомобиль с золотом и ордер на помещение в здании с колоннами.

Когда же зять его Мижухев выразил сомнение, обругал его, но не Софроном, а просто сволочью.

Одним словом, надоел Чичикову до того, что тот не знал, как и ноги от него унести.

Но рассказы Ноздрева навели его на мысль и самому заняться внешней торговлей.

IV

Так он и сделал. И опять анкету написал и начал действовать — и показал себя во всем блеске. Баранов в двойных тулупах водил через границу, а под тулупами брабантские кружева; бриллианты возил в колесах, дышлах, в ушах и невесть каких местах.

И в самом скором времени очутились у него около пятисот апельсинов¹ капитала.

Но он не унялся, а подал куда следует заявление, что желает снять в аренду некое предприятие, и расписал необыкновенными красками, какие от этого государству будут выгоды.

В учреждении только рты расстегнули — выгода действительно выходила колоссальная. Попросили указать предприятие. На Тверском бульваре, как раз против Страстного монастыря, перейдя улицу, и называется — Пампуш на Твербуле². Послали запрос куда следует: есть ли там такая штука. Ответили: есть и всей Москве известна. Прекрасно.

— Подайте техническую смету.

У Чичикова смета уже за пазухой.

Дали в аренду.

Тогда Чичиков, не теряя времени, полетел куда следует.

— Аванс пожалте.

— Представьте ведомость в трех экземплярах с надлежащими подписями и приложением печатей.

Двух часов не прошло, представил и ведомость. По всей форме. Печатей столько, как в небе звезд. И подписи налицо.

— За заведующего — *Неуважай-Корыто*,

за секретаря — *Кувшинное Рыло*,

за председателя тарифно-расценочной комиссии — *Елизавета Воробей*.

— Верно. Получите ордер.

Кассир только крякнул, глянув на итог.

Расписался Чичиков и на трех извозчиках увез дензнаки.

¹ Имеются в виду миллиарды; в те годы денежной инфляции миллионы именовались "лимонами".

² Памятник Пушкину на Тверском бульваре.

А затем в другое учреждение.

— Пожалте подтоварную ссуду.

— Покажите товары!

— Сделайте одолжение. Агента позвольте.

— Дать агента!

Тьфу! и агент знакомый: Ротозей Емельян.

Забрал его Чичиков и повез. Привез в первый попавшийся подвал и показывает. Видит Емельян — лежит несметное количество продуктов.

— М-да... И всё ваше?

— Всё мое.

— Ну, — говорит Емельян, — поздравляю вас в таком случае. Вы даже не миллионер, а трильонщик!

А Ноздрев, который тут же с ними увязался, еще подлил масла в огонь.

— Видишь, — говорит, — автомобиль в ворота с сапогами едет? Так это тоже его сапоги.

А потом вошел в азарт, потащил Емельяна на улицу и показывает:

— Видишь магазины? Так это все его магазины. Все, что по эту сторону улицы, — все его. А что по ту сторону — тоже его. Трамвай видишь? Его. Фонари?.. Его. Видишь? Видишь?

И вертит его во все стороны.

Так что Емельян взмолился:

— Верю! Вижу... только отпусти душу на покаяние.

Поехали обратно в учреждение.

Там спрашивают:

— Ну что?

Емельян только рукой махнул.

— Это, — говорит, — неопишимо!

— Ну, раз неопишимо — выдать ему $n+1$ миллиардов.

V

Дальше же карьера Чичикова приняла головокружительный характер. Уму непостижимо, что он вытворял. Основал трест для выделки железа из деревянных опилок и тоже ссуду получил. Вошел пайщиком в огромный кооператив и всю Москву накормил колбасой из дохлого мяса. Помещица Коробочка, услышав, что теперь в Москве "всё разрешено", пожелала недвижимость приобрести; он вошел в компанию с Замухрышкиным и Утешительным и продал ей Манеж, что против Университета. Взял подряд на электрификацию города, от которого в три года никуда не доскачешь, и, войдя в контакт с бывшим городничим, разметал какой-то забор, поставил вехи, чтобы было похоже на планировку, а насчет денег, отпущенных на электрификацию, написал, что их у него отняли бандиты капитана Копейкина. Словом, произвел чудеса.

И по Москве вскоре загудел слух, что Чичиков — трильонщик. Учреждения начали рвать его к себе нарасхват в спецы. Уже Чичиков снял за 5 миллиардов квартиру в пять комнат, уже Чичиков обедал и ужинал в "Ампире".

VI

Но вдруг произошел крах.

Погубил же Чичикова, как правильно предсказал Гоголь, Ноздрев, а прикончила Коробочка. Без всякого желания сделать ему пакость, а просто в пьяном виде, Ноздрев разболтал на бегах и про

деревянные опилки, и о том, что Чичиков снял в аренду несуществующее предприятие, и всё заключил словами, что Чичиков жулик и что он бы его расстрелял.

Задумалась публика, и как искра пробежала крылатая молва.

А тут еще дура Коробочка вперлась в учреждение расспрашивать, когда ей можно будет в Манеже булочную открыть. Тщетно уверяли ее, что Манеж казенное здание и что ни купить его, ни что-нибудь открывать в нем нельзя, — глупая баба ничего не понимала.

А слухи о Чичикове становились всё хуже и хуже. Начали недоумевать, что такое за птица этот Чичиков и откуда он взялся. Появились сплетни, одна другой зловещее, одна другой чудовищней. Беспокойство вселилось в сердца. Зазвенели телефоны, начались совещания... Комиссия построения в комиссию наблюдения, комиссия наблюдения в Жилотдел, Жилотдел в Наркомздрав, Наркомздрав в Главкустпром, Главкустпром в Наркомпрос, Наркомпрос в Пролеткульт и т.д.

Кинулись к Ноздреву. Это, конечно, было глупо. Все знали, что Ноздрев лгун, что Ноздреву нельзя верить ни в одном слове. Но Ноздрева призывали, и он ответил по всем пунктам.

Объявил, что Чичиков действительно взял в аренду несуществующее предприятие и что он, Ноздрев, не видит причины, почему бы не взять, ежели все берут? На вопрос: уж не белогвардейский ли шпион Чичиков, ответил, что шпион и что его недавно хотели даже расстрелять, но почему-то не расстреляли. На вопрос: не делатель ли Чичиков фальшивых бумажек, ответил, что делатель, и даже рассказал анекдот о

необыкновенной ловкости Чичикова: как, узнавши, что правительство хочет выпускать новые знаки, Чичиков снял квартиру в Марьиной роще и выпустил оттуда фальшивых знаков на 18 миллиардов и при этом на два дня раньше, чем вышли настоящие, а когда туда нагрянули и опечатали квартиру, Чичиков в одну ночь перемешал фальшивые знаки с настоящими, так что потом сам черт не мог разобраться, какие знаки фальшивые, а какие настоящие. На вопрос: точно ли Чичиков обменял свои миллиарды на бриллианты, чтобы бежать за границу, Ноздрев ответил, что это правда и что он сам взялся помогать и участвовать в этом деле, а если бы не он, ничего бы и не вышло.

После рассказов Ноздрева полнейшее уныние овладело всеми. Видят, никакой возможности узнать, что такое Чичиков, нет. И неизвестно, чем бы всё это кончилось, если бы не нашелся среди всей компании один. Правда, Гоголя он тоже, как и все, в руки не брал, но обладал маленькой дозой здравого смысла.

Он и воскликнул:

— А знаете, кто такой Чичиков?

И когда все хором грянули:

— Кто?!

Он произнес гробовым голосом:

— Мошенник.

VII

Тут только и осенило всех. Кинулись искать анкету. Нету. По входящему. Нету. В шкапу — нету. К регистраторше.

— Откуда я знаю? У Иван Григорьича.

К Иван Григорьичу.

— Где?

— Не мое дело. Спросите у секретаря и т.д., и т.д.

И вдруг неожиданно в корзине для ненужных бумаг — она.

Стали читать и обомлели.

Имя? Павел. Отчество? Иванович. Фамилия? Чичиков. Звание? Гоголевский персонаж. Чем занимался до революции? Скупкой мертвых душ. Отношение к воинской повинности? Ни то, не сё, ни черт знает что. К какой партии принадлежит? Сочувствующий (а кому — неизвестно). Был ли под судом? Волнистый зигзаг. Адрес? Поворотя во двор, в третьем этаже направо, спросить в справочном штаб-офицершу Подточину, а та знает.

Собственноручная подпись? Обмакни!!!

Прочитали и окаменели.

Крикнули инструктора Бобчинского:

— Катись на Тверской бульвар в арендуемое им предприятие и во двор, где его товары, может, там что откроется!

Возвращается Бобчинский. Глаза круглые.

— Чрезвычайное происшествие!

— Ну!!

— Никакого предприятия там нету. Это он адрес памятника Пушкину указал. И запасы не его, а АРА¹.

Тут все взвыли:

— Святители угодники! Вот так гусь! А мы ему миллиарды!! Выходит, теперича ловить его надо!

И стали ловить.

¹ Сокращ. от англ. American Relief Administration — Американская администрация помощи (1919—1923 гг.), которая была создана для оказания помощи европейским странам, пострадавшим в 1-й мировой войне. В 1921 г. в связи с голодом в Поволжье деятельность АРА была разрешена в РСФСР.

Пальцем в кнопку ткнули:

— Кульера.

Отворилась дверь, и предстал Петрушка. Он от Чичикова уже давно отошел и поступил курьером в учреждение.

— Берите немедленно этот пакет и немедленно отправляйтесь.

Петрушка сказал:

— Слушаю-с.

Немедленно взял пакет, немедленно отправился и немедленно его потерял.

Позвонили Селифану в гараж:

— Машину. Срочно.

— Чичас.

Селифан вострепнулся, закрыл мотор теплыми штанами, натянул на себя куртку, вскочил на сиденье, засвистел, загудел и полетел. Какой же русский не любит быстрой езды?!

Любил ее и Селифан, и поэтому при самом въезде на Лубянку пришлось ему выбирать между трамваем и зеркальным окном магазина. Селифан в течение одной трети времени избрал второе, от трамвая увернулся и, как вихрь, с воплем: "Спасите!" въехал в магазин через окно.

Тут даже у Тентетникова, который заведовал всеми Селифанами и Петрушками, лопнуло терпение:

— Уволить обоих, к свиньям!

Уволили. Послали на биржу труда. Оттуда командировали: на место Петрушки — плюшкинского Прошку, на место Селифана — Григория Доезжай-не-Доедешь. А дело тем временем кипело дальше!

— Авансовую ведомость!

— Извольте.

— Попросить сюда Неуважая-Корыто.

Оказалось, попросить невозможно. Неуважая месяца два тому назад вычистили из партии, а уже из Москвы он и сам вычистился сейчас же после этого, так как делать ему в ней было больше решительно нечего.

— Кувшинное Рыло?

Уехал куда-то на куличку инструктировать губотдел.

Принялись тогда за Елизавета Воробья. Нет такого! Есть, правда, машинистка Елизавета, но не Воробей. Есть помощник заместителя младшего делопроизводителя замзавподотдел Воробей, но он не Елизавета!

Прицепились к машинистке:

— Вы?!

— Ничего подобного! Почему это я? Здесь Елизавета с твердым знаком, а разве я с твердым? Совсем наоборот...

И в слезы. Оставили в покое.

А тем временем, пока возились с Воробьем, правозаступник Самосвистов дал знать Чичикову стороной, что по делу началась возня, и, понятное дело, Чичикова и след простыл.

И напрасно гоняли машину по адресу: поворота направо, никакого, конечно, справочного бюро не оказалось, а была там заброшенная и разрушенная столовая общественного питания. И вышла к приехавшим уборщица Фетинья и сказала, что никого нетути.

Рядом, правда, поворота налево, нашли справочное бюро, но сидела там не штаб-офицерша, а какая-то Подстёга Сидоровна и, само собой разумеется, не знала не только чичиковского адреса, но даже и своего собственного.

IX

Тогда напало на всех отчаяние. Дело запуталось до того, что и черт бы в нем никакого вкуса не отыскал. Несуществующая аренда перемешалась с опилками, брабантские кружева с электрификацией, Коробочкина покупка с бриллиантами. Влип в дело Ноздрев, оказались замешанными и сочувствующий Ротозей Емельян, и беспартийный Вор Антошка, открылась какая-то панاما¹ с пайками Собакевича. И пошла писать губерния!

Самосвистов работал не покладая рук и впутал в общую кашу и путешествия по сундукам, и дело о подложных счетах за разъезды (по одному ему оказалось замешано до 50 000 лиц), и проч., и проч. Словом, началось черт знает что. И те, у кого миллиарды из-под носа выписали, и те, кто их должны были отыскать, метались в ужасе, и перед глазами был только один непреложный факт: миллиарды были и исчезли.

Наконец встал какой-то Дядя Митяй и сказал:

— Вот что, братцы... Видно, не миновать нам следственную комиссию назначить.

X

И вот тут (чего во сне не увидишь!) вынырнул, как некий бог на машине, я и сказал:

— Поручите мне.

Изумились:

— А вы... того... сумеете?

¹ Панاما — крупное мошенничество с подкупом должностных лиц (название возникло после скандала во время строительства Панамского канала в 1889 г.).

А я:

— Будьте покойны.

Поколебались. Потом красным чернилом:

— Поручить.

Тут я и начал (в жизнь не видел приятнее сна!).

Полетели со всех сторон ко мне 35 тысяч мотоциклистов:

— Не угодно ли чего?

А я им:

— Ничего не угодно. Не отрывайтесь от ваших дел. Я сам справлюсь. Единолично.

Набрал воздуха и гаркнул так, что дрогнули стёкла:

— Подать мне сюда Тяпкина-Ляпкина! Срочно! По телефону подать!

— Так что подать невозможно... Телефон сломался.

— А-а! Сломался! Провод оборвался? Так чтоб он даром не мотался, повесить на нем того, кто докладывает!!

Батюшки! Что тут началось!

— Помилуйте-с... что вы-с... Сию... хе-хе... минутку... Эй! Мастеров! Проволоки! Сейчас починят!

В два счета починили и подали.

И я рванул дальше:

— Тяпкин? М-мерзавец! Ляпкин? Взять его, прохвоста! Подать мне списки! Что? Не готовы? Приготовить в пять минут, или вы сами очутитесь в списках покойников! Э-э-то кто?! Жена Манилова — регистраторша? В шею! Улинька Бетрищева — машинстка? В шею! Собакевич? Взять его! У вас служит негодяй Мурзофейкин? Шулер Утешительный? Взять!! И того, кто их назначил, — тоже! Схватить его! И его! И этого! И того! Фетинью вон! Поэта Тряпичкина, Селифана и Петрушку в учетное отделение! Ноздрева в подвал... В минуту! В секунду!!

Кто подписал ведомость? Подать его, каналью!!
Со дна моря достать!!

Гром пошел по пеклу..

— Вот черт налетел! И откуда такого достали?!

А я:

— Чичикова мне сюда!!

— Н...н...невозможно сыскать. Они скрымшились...

— Ах, скрымшились? Чудесно! Так вы сядете на его место.

— Помил...

— Молчать!!

— Сию минуточку... Сию... Повремените секундо-
дочку. Ищут-с.

И через два мгновения нашли!

И напрасно Чичиков валялся у меня в ногах и рвал на себе волосы и френч и уверял, что у него нетрудоспособная мать.

— Мать?! — гремел я, — мать?.. Где миллиарды? Где народные деньги?! Вор!! Взрезать его, мерзавца! У него бриллианты в животе!

Вскрыли его. Тут они.

— Все?

— Все-с.

— Камень на шею и в прорубь!

И стало тихо и чисто.

И я по телефону:

— Чисто.

А мне в ответ:

— Спасибо. Просите чего хотите.

Так я и взметнулся около телефона. И чуть было не выложил в трубку все сметные предположения, которые давно уже терзали меня:

”Брюки... фунт сахару... лампу в 25 свечей...”

Но вдруг вспомнил, что порядочный литератор должен быть бескорыстен, увял и пробормотал в трубку:

— Ничего, кроме сочинений Гоголя в переплете, каковые сочинения мной недавно проданы на толчке.

И... бац! У меня на столе золотообрезный Гоголь!

Обрадовался я Николаю Васильевичу, который не раз утешал меня в хмурые бессонные ночи, до того, что рявкнул:

— Ура!

И...

Э п и л о г

...конечно, проснулся. И ничего: ни Чичикова, ни Ноздрёва и, главное, ни Гоголя...

— Э-хе-хе, — подумал я себе и стал одеваться, и вновь пошла передо мной по-будничному щеголять жизнь.

1922

НЕДЕЛЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ

(Простодушный рассказ)

Заходит к нам в роту вечером наш военком и говорит мне:

— Сидоров!

А я ему:

— Я!

Посмотрел он на меня пронзительно и спрашивает:

— Ты, — говорит, — что?

— Я, — говорю, — ничего...

— Ты, — говорит, — неграмотный?

Я ему, конечно:

— Так точно, товарищ военком, неграмотный.

Тут он на меня посмотрел еще раз и говорит:

— Ну, коли ты неграмотный, так я тебя сегодня вечером отправлю на "Травиату"!

— Помилуйте, — говорю, — за что же? Что я неграмотный, так мы этому не причинны. Не учили нас при старом режиме.

А он отвечает:

— Дурак! Чего испугался? Это тебе не в наказание, а для пользы. Там тебя просвещать будут, спектакль посмотришь, вот тебе и удовольствие.

А мы как раз с Пантелеевым из нашей роты нацелились в этот вечер в цирк пойти.

Я и говорю:

— А нельзя ли мне, товарищ военком, в цирк увольниться вместо театра?

А он прищурил глаз и спрашивает:

— В цирк?.. Это зачем же такое?

— Да, — говорю, — уж больно занятно... Ученого слона выводить будут, и опять же рыжие, французская борьба...

Помахал он пальцем.

— Я тебе, — говорит, — покажу слона! Несознательный элемент! Рыжие... рыжие! Сам ты рыжая деревенщина! Слоны-то ученые, а вот вы, горе мое, неученые! Какая тебе польза от цирка? А? А в театре тебя просвещать будут... Мило, хорошо... Ну, одним словом, некогда мне с тобой долго разговаривать... Получай билет, и марш!

Делать нечего — взял я билетик. Пантелеев, он тоже неграмотный, получил билет, и отправились мы. Купили три стакана семечек и приходим в "Первый советский театр".

Видим, у загородки, где впускают народ, — столпотворение вавилонское. Валом лезут в театр. И среди наших неграмотных есть и грамотные, и всё больше барышни. Одна было и сунулась к контролеру, показывает билет, а тот ее и спрашивает:

— Позвольте, — говорит, — товарищ мадам, вы грамотная?

А та сдуру обиделась:

— Странный вопрос! Конечно, грамотная! Я в гимназии училась! — А, — говорит контролер, — в гимназии. Очень приятно. В таком случае позвольте вам пожелать до свидания!

И забрал у нее билет.

— На каком основании, — кричит барышня, — как же так?

— А так, — говорит, — очень просто, потому пускаем только неграмотных.

— Но я тоже хочу послушать оперу или концерт.

— Ну, если вы, — говорит, — хотите, так пожалуйста в Кавсоюз. Туда всех ваших грамотных собрали — доктора там, фершала, профессора. Сидят и чай с патокою пьют, потому им сахару не дают, а товарищ Куликовский им романсы поет.

Так и ушла барышня.

Ну, а нас с Пантелеевым пропустили беспрепятственно и прямо провели в партер и посадили во второй ряд.

Сидим.

Представление еще не начиналось, и потому от скуки по стаканчику семечек сжевали. Посидели мы так часика полтора, наконец стемнело в театре.

Смотрю, лезет на главное место огороженное какой-то. В шапочке котиковой и в пальто. Усы, бородака с проседью и из себя строгий такой. Влез, сел и первым делом на себя пенсне одел.

Я и спрашиваю Пантелеева (он хоть и неграмотный, но всё знает):

— Это кто же такой будет?

А он отвечает:

— Это дери, — говорит, — жер. Он тут у них самый главный. Серьезный господин!

— Что ж, — спрашиваю, — почему ж это его напоказ сажают за загородку?

— А потому, — отвечает, — что он тут у них самый грамотный в опере. Вот его для примеру нам, значит, и выставляют.

— Так почему ж его задом к нам посадили?

— А, — говорит, — так ему удобнее оркестром хороводить!..

А дирижер этот самый развернул перед собой какую-то книгу, посмотрел в нее и махнул белым прутиком, и сейчас же под полом заиграли на скрипках. Жалобно, тоненько, ну прямо плакать хочется.

Ну, а дирижер этот действительно в грамоте оказался не последний человек, потому два дела сразу делает — и книжку читает, и прутом размахивает. А оркестр нажаривает. Дальше — больше! За скрипками на дудках, а за дудками на барабанах. Гром пошел по всему театру. А потом как рявкнет с правой стороны... Я глянул в оркестр и кричу:

— Пантелеев, а ведь это, побей меня Бог, Ломбард¹, который у нас на пайке в полку!

А он тоже заглянул и говорит:

— Он самый и есть! Окромя его, некому так здорово врезать на тромбоне!

Ну, я обрадовался и кричу:

— Браво, бис, Ломбард!

Но только, откуда ни возьмись, милиционер, и сейчас ко мне:

— Прошу вас, товарищ, тишины не нарушать!

Ну, замолчали мы.

А тем временем занавеска раздвинулась, и видим мы на сцене — дым коромыслом! Которые в пиджаках кавалеры, а которые дамы в платьях

¹ Б. А. Ломбард (1878—1960), известный тромбонист, оркестрант Харьковского оперного театра.

танцуют, поют. Ну, конечно, и выпивка тут же, и в девятку¹ то же самое.

Одним словом, старый режим!

Ну, тут, значит, среди прочих Альфред. Тоже пьет, закусывает.

И оказывается, братец ты мой, влюблен он в эту самую Травиату. Но только на словах этого не объясняет, а всё пением, всё пением. Ну, и она ему тоже в ответ.

И выходит так, что не миновать ему жениться на ней, но только есть, оказывается, у этого самого Альфреда папаша, по фамилии Любченко². И вдруг, откуда ни возьмись, во втором действии он и шашть на сцену.

Роста небольшого, но представительный такой, волосы седые, и голос крепкий, густой — беривтон.

И сейчас же и запел Альфреду:

— Ты что ж, такой-сякой, забыл край милый свой?

Ну, пел, пел ему и расстроил всю эту Альфредову махинацию, к черту. Напился с горя Альфред пьяный в третьем действии, и устрой он, братцы вы мои, скандал здорovenнейший — этой Травиате своей.

Обругал ее, на чем свет стоит, при всех.

Поет:

— Ты, — говорит, — и такая и этакая, и вообще, — говорит, — не желаю больше с тобой дела иметь.

Ну, та, конечно, в слезы, шум, скандал!

И заболей она с горя в четвертом действии чахоткой. Послали, конечно, за доктором.

Приходит доктор.

Ну, вижу я, хоть он и в сюртуке, а по всем признакам наш брат — пролетарий. Волосы длинные,

¹ Карточная игра.

² Владимир Любченко — известный певец, баритон, исполнявший арию Жермона-отца в этом спектакле, знакомый семьи Булгаковых.

и голос здоровый, как из бочки. Подошел к Травиате и запел:

— Будьте, — говорит, — покойны, болезнь ваша опасная, и непременно вы помрете!

И даже рецепта никакого не прописал, а прямо попрощался и вышел.

Ну, видит Травиата, делать нечего — надо помирать.

Ну, тут пришли и Альфред и Любченко, просят ее не помирать. Любченко уж согласие свое на свадьбу дает. Но ничего не выходит!

— Извините, — говорит Травиата, — не могу, должна помереть.

И действительно, попели они еще втроем, и померла Травиата.

А дирижер книгу закрыл, пение снял и ушел. И все разошлись. Только и всего.

Ну, думаю, слава Богу, просветились, и будет с нас! Скучная история!

И говорю Пантелееву:

— Ну, Пантелеев, айда завтра в цирк!

Лег спать, и всё мне снится, что Травиата поет и Ломбард на своем тромбоне крикает.

Ну-с, прихожу я на другой день к военному и говорю:

— Позвольте мне, товарищ военком, сегодня вечером в цирк увольниться...

А он как рыкнет:

— Всё еще, — говорит, — у тебя слоны на уме! Никаких цирков! Нет, брат, пойдешь сегодня в Совпроф на концерт. Там вам, — говорит, — товарищ Блох со своим оркестром Вторую рапсодию играть будет!

Так я и сел, думаю:

”Вот тебе и слоны!”

— Это что ж, — спрашиваю, — опять Ломбард на тромбоне нажаривать будет?

— Обязательно, — говорит.

Оказия, прости Господи, куда я, туда и он со своим тромбоном!

Взглянул я и спрашиваю:

— Ну, а завтра можно?

— И завтра, — говорит, — нельзя. Завтра я вас всех в драму пошлю.

— Ну, а послезавтра?

— А послезавтра опять в оперу!

И вообще, говорит, довольно вам по циркам шляться. Настала неделя просвещения.

Осатанел я от его слов! Думаю: этак пропадешь совсем. И спрашиваю:

— Это что ж, всю нашу роту гонять так будут?

— Зачем, — говорит, — всех! Грамотных не будут. Грамотный и без Второй рапсодии хорош! Это только вас, чертей неграмотных. А грамотный пусть идет на все четыре стороны!

Ушел я от него и задумался. Вижу, дело табак! Раз ты неграмотный, выходит, должен ты лишиться всякого удовольствия...

Думал, думал и придумал.

Пошел к военкому и говорю:

— Позвольте заявить!

— Заявляй!

— Дозвольте мне, — говорю, — в школу грамоты.

Улыбнулся тут военком и говорит:

— Молодец! — и записал меня в школу.

Ну, походил я в нее, и что вы думаете, выучили-таки! И теперь мне черт не брат, потому я грамотный!

1921





ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ ЭРЕНБУРГ (1891—1967)

Первое произведение Илья Эренбург опубликовал в 1910 г. Он — автор сборников стихов, романов и повестей, рассказов и путевых очерков, литературных портретов и публицистических статей, памфлетов и мемуаров...

Своеобразие творческой манеры Эренбурга-прозаика — в умении строить повествование, сочетающее, иногда даже не соприкасающиеся, а дополняющие или резко контрастирующие многочисленные сюжетные линии. Он лаконичен в отборе средств, в описании пейзажа, действии. Он писал о войне и политике, о международных отношениях и мире, о человеке в непростых условиях жизни.

Прозу Эренбурга отличает органическое сочетание лирики и публицистики, психологизма и сатиры... Последняя всегда занимала значительное место в его творчестве. Основным объектом сатиры писателя был капиталистический мир, однако в произведениях 20-х гг. сатирическое обличение этого мира нередко сочетается с горьким скептицизмом, неверием в возможность нового, справедливого устройства мира при социализме.

Несмотря на признание и относительно безоблачную судьбу Эренбурга, некоторые его произведения не сразу дошли до читателя, как и публикуемый ниже рассказ из книги "Неправдоподобные истории" (1922), вышедшей на родине лишь в 1991 г. В предисловии

Илья Эренбург писал: "Книга эта не "политика", не отображение Великой Российской Революции, не хвала, не хула: выкраивать из нее цитаты, удобные для брюзжания злободневного, значит пренебречь ее скромным именем — в палатах судейских щеголять неправдоподобными показаниями.

Это не листы истории великих лет — нет, просто и скромно, петитная ерунда, сноски неподобные, сто придаточных предложений без главного, межскобочное многословие".

"УСКОМЧЕЛ"

Хорошо будет другим историю писать: перенумеруют документики для порядка, разложат на столе просторном стопочками и пойдет "историческая неизбежность", наборщикам на утешенье. А вот у нас, в Москве, до сих пор еще многие коммунистов не за людей почитают, а за крокодилов на шарнирах, в наказание, тела до пупа обнажившим и голубей (Духа Святого поругатели!) пожирившим с горошком, ниспосланных. (Конечно, галиматъя явная — только и услышишь ее где-нибудь у лабазника бывшего на Вшивой Горке, — люди коммунисты, как и прочие, с причудами всякими, нашей породе свойственными. Есть и умники, так Ллойд Джордж¹ к ним в приготовительный и просится, есть звезд не хватающие, но честно по директивам на свадьбах причитающие, на похоронах трепака выводящие, есть прямо подвижники, от "пши" прелой сами заповревшие,

¹ Ллойд Джордж (1863—1945) — премьер-министр Великобритании (1916—1922), один из организаторов антисоветской интервенции, впоследствии выступил за установление контактов с Советской Россией.

наподобие Серафима Саровского¹ баню среди духовного подъема презирающие, есть и снобы, после трудового дня сигарку почитающие не за грех выкурить, с галстуками такими, что сам Брюммель бы ради оных "сочувствующим" стать не отказался; а есть и совсем обыкновенные — пока такой до декретов не дорвется, никто его за коммуниста не примет, человек как человек, даром, что билет эркапевский в кармане.)

Вот таким с виду невыразительным был и товарищ Возов, хоть стоял он на верхушке государственной пирамиды, там где стоя день и ночь балансировать приходится, совнаркомщик безусловный! А посмотреть на него, скажешь интеллигент, скорее всего саботажник! Одна бородка недосевная, в минуты патетические энергично выкручиваемая — чего стоит, честная народническая бородка, так и сочатся из нее добродушие, этика, стихи Некрасова. Обманчивая видимость, ибо хоть Возов и предпочитал в душе "музу гнева народного", т.е. Некрасова в приложении к "Ниве", всем современным выкрутасам футуристическим, хоть и добродушен был до крайности, как Магомет кошки не потревожил бы зря, хоть и без этики дня прожить не мог, и ввысь ударяясь, т.е. в билет эркапевский новый декалог² вписывая и в буднях честность блюдя, никогда чужими папиросами на заседаниях не пользуясь, но при всем этом был Возов не эсером белотелым, а чистой крови коммунистом, так что каждый эсер его бы с удовольствием ухлопал, если бы цека

¹ Серафим Саровский, в миру: Прохор Мошнин (1759 — 1833) — святой русской православной церкви.

² Декалог (греч.) — десять ветхозаветных религиозно-нравственных заповедей в Библии.

ихний не запретил бомбами швыряться по соображениям дипломатии особой.

Но вот стряслась с Возовым беда, и кто знает, не те же ли эсеры всю хитроумную махинацию задумали? Очень они простодушны, на крылечке славянском об общине мирно калякают, а что при сём думают, неизвестно. Словом, эсеров ли козни, или стечение обстоятельств неблагоприятное, но приключилось с Возовым нечто весьма странное и печальное. Началось всё вечером 23-го февраля 1921 года, в одной из комнат Николаевского дворца, где помещался рабочий кабинет Возова.

Мирно спала Москва, поживаясь, калачиком свернувшись под рваными стегаными, байковыми лоскутными одеялами, под тулупами вонючими, под всякой дрянью, горой накиданной, спала, не думая о феврале 24-м, ибо никаких заговоров, празднеств, даже выдач значительных не предвиделось. Но отнюдь не о сне благодетельном думал Возов, хоть тяжелели веки — шестую ночь бодрствовал человек, всё работал, работал. А в чем собственно выражалась работа эта — трудно сказать по сложности многоликой, дерзанию невероятному. Будь Возов наркомом Проса, т.е. Просвещения, ясно, что он за шесть ночей не менее тысячи школ накрутил бы, ведай путями сообщения, опять-таки сомнения не было — так и сновали бы по столу дубовому электрические поезда, но Возов определенных функций не имел, а ум свой всеобъемлющий ко всякой диковине прикладывал.

Какие только проекты и сметы не безумствовали нолями миллиардов перед припухшими от бессонницы вечной глазами! Сразу думал он и о воспитании соответствующем, немедленно в производство дитя вгоняющем, и об единомыслии необходимом для всех людей, "рабочую оппозицию" и чувашей включая, и о

регулировании грядущем рождений, в беспорядке свершающихся, и о многом ином, действительно титаническом, так что, выражаясь языком религиозным, хоть и неприличном в Кремле красном, но приспособленном именно для однородных случаев, можно сказать, что Возов, отделив свет от тьмы, творил не мудрствуя мир.

В вечер столь несчастный Возов, мысли последние закончив, почувствовал необходимость синтезировать напряженные поиски свои, и как всякий честный коммунист, новое творящий, принялся рисовать организационную схему. Рисовать он правда не умел, вместо кругов получались груши с хвостиками, а вместо квадратов круги, т.е. бублики поломанные. Но красивые схемы делает одна мелюзга, заведующий секцией живописных музеев в Пензе, или начальник информационного отдела шахматного спорта при Тверском Всеобуче; там месяц с готовальней не разлучаются, не жалеют акварели, прямо картина выходит, так что пензенский ее, к слову будет сказано, покушался даже в музей за отсутствием экспонатов перетащить. А серьезные работники схемы чертят наспех, нервность и срочность выражая не для красоты пластической, а исключительно для закрепления важнейших открытий.

Итак, Возов рисовал схему, но не учреждения какого-либо, не новой канцелярии, а самой сердцевины бытия — жизни человека, не безалаберного лодыря, разгильдяя кутерьмового — нет, осмысленного, регулируемого человека. Начинаясь она с единого центра, вырабатывающего точно разверстку детей по губерниям и областям. Разбивалась в многогранности функций на сотни треугольников с ребрами труда, развлечений, отдыха и снова впадала в широкие ворота проекти-

руемого по электрификации общей грандиозного крематория. Выходило изумительно; без заминки, без заковычки пробегали люди по всем этапам, ни заблудиться, ни улизнуть никто не мог. Кончив работу, восторженно подумал Возов: вот он, усовершенствованный коммунистический человек, по привычке слова сократил, так что вышло "ускомчел", и закрыл усталые глаза.

Через минуту открыв их, увидел он напротив себя самого себя, тоже с бородкой и деловитого. Больше удивленный, нежели испуганный, и сходством разительным и появлением неожиданным в столь поздний час, Возов запросил субъекта:

"Вы, товарищ, кто такой?"

Субъект же, сцапав мимоходом портфель со стола, ответил:

"Я? Возов — ускомчел. А теперь мне пора по ниточке в следующий ромб переходить".

И здесь случилось наименее правдоподобное, а именно ускомчел исчез сразу, не подходя к двери и не пользуясь окошком. "Переработался, — подумал Возов, — надо беречь всё же себя во имя дела". И взглянув на план вырисованный, уже лежа, еще раз прошептал:

"Здорово! Ускомчел! Только бы рабочая оппозиция не затеяла дискуссии".

Поспал хорошо товарищ Возов, и хоть прыгали во сне диаграммы, но на приличном расстоянии, отнюдь не тревожа. Зато пробуждение было неприятное: в одиннадцатом часу настоятельно забарабанил телефон, и сонный в кальсонах пробурчал Возов: "Алло!"

Басок чересчур знакомый ответил:

"Кабинет товарища Возова? Примите телефонограмму. Единогласие отправлений установлено,

рабочая оппозиция ликвидирована, приступлено к ректификации¹ черепов чувашей. Записали? Кто принял?”

Возов спросонок, не вникая в суть, ответил:

”Принял Возов. — Для порядка больше спросил. — А кто подал?”

Басок с предупредительностью, по слогам отчеканил:

”Подал Возов Ускомчел”, — и трубку повесил.

Остался текст телефонограммы, явно нелепый, и еще воспоминание о какой-то ночной ерунде. Кто это пакостит? Уж не телефонная ли барышня? — подумал Возов раздраженно, потом решил козни разрушить, т.е. ничего не замечать, а поспешить на заседание особой комиссии.

Поспешил, но все же опоздал, к концу попал. Председатель как раз перерыв объявил, для составления резолюции. К Возову подошел товарищ Вуль и льстиво сказал ему:

”Я ведь совсем не в рабочей оппозиции. Прекрасный доклад вы сделали, ну кто теперь возразить сможет?”

”Какой доклад? — взволнованно спросил Возов. — Я только что приехал, вы, верно, меня с кем-нибудь спутали”.

Вуль решил, что Возов балуется, успехом довольный, и хихикнул:

”Да! Спутаешь вас с кем-нибудь! Вы так вцепитесь тезисом...”

”Вздор! Вздор! — кричал Возов. — Какие там тезисы, говорю вам, я проспал, заработался. О чем резолюция? Только толком говорите!..”

”О вашем проекте организовать Ускомчел”.

Возов испуганно выбежал. Черт возьми! Ведь кто-то его нагло мистифицирует. Значит, вчера не приснилось, решительно какой-то прохвост шлялся и

¹ Ректификация (лат.) — исправление, выпрямление.

портфель с проектами стянул. Но как он мог в Кремль без пропуска прошмыгнуть? Возов побежал к будке у ворот и запросил, кому пропуска выдавали вчера ночью. Оказалось, прошли в Кремль: курсант Плешко, 22 лет, и гражданка Училищева, к заведующему клубом. Возов усомнился — уж не болен ли он, расстройство, может, выдумка, вздор. Тогда надо в руки взять себя. И опять, решив забыть происшествие, отправился он в столовую Совнаркома. Но забвения никакого быть не могло, ибо заведующая не только заявила ему, что он уже пообедал, но еще и прибавила, что вполне с ним согласна касательно замены битков с картошкой конденсированными калориями (заведующая курсисткой была и знала даже почище слова). Возов ужасно застыдился: вот она вздумает, будто он хотел съесть еще один биток и, не пробуя оправдываться, побежал прямо к себе с твердым намерением либо вылечиться сразу, либо преступника изловить.

Дома он заперся, снял телефонную трубку и начал себя убеждать, что он Возов — один, учился в нижегородском реальном, из шестого был выгнан, в 1907 провалился, дельный, умный, эркапэ, других нет, вздор, пять ночей не спал, и прочее. Успокоившись снова уснул, недоспанное сказалось, и проснулся поздно вечером, безо всяких звонков неприятных, свежий и крепкий. "Ну, вот и вылечился", — потягиваясь, крикнул Возов, утренние страхи припомнив.

Но собравшись снова на вечернее заседание, Возов увидел, что лечись не лечись, портфеля с проектами не было. Ясно, здесь не декадентство какое-нибудь, с двойниками мистическими, а самый паскудный заговор. Еще раз под стол слазив и обшарив углы, не обронил ли он ночью портфеля злополучного, Возов подошел решительно к телефону и спросил по прямому

проводу кого нужно, но когда услышал строгое деловое: "Алло! Коммутатор вечека", вдруг сконфузился и ничего вымолвить не мог. Ну, как объяснить, что заговорщик не вышел в дверь, а исчез, будто кинематограф это, что он обед слопал и еще про калории что-то набубнил неподобное? Смехота и только, серьезные люди, занятые, обидеться могут!.. И не назвавшись, Возов бросил трубку.

Был готов Возов снова смертельно расстроиться, но вызволила мысль пойти к Тане Яншиной, дочери цекиста почтенного, жившей в соседнем монастыре, в бывших покоях игуменьи. Хоть и неприятно, когда говорят о людях, в шесть дней Творцу на зависть мир созидающих, обычных человеческих страстей касаться, необходимо здесь для освещения всего печального инцидента прямо разоблачить, что не только не был Возов к Тане равнодушен, но даже попросту влюблен, слепо и неистово, несмотря на тридцать четыре года, эркапесистость, совсем как пятиклассник какой-нибудь, или того хуже, тургеневский лодырь.

Вот еще занятие вполне приличное для внучат наших — пока историк будет декреты старенькие, точно ежи полысевшие, совсем не страшные, не спеша комментировать, примечание на причмечание нанизывая, романист займется бытом вокзальным, закулисным пафосом, воистину циклопическим шурымурством великой эпохи. Бог его знает, какое умозаключение под конец выпотеет — об упадке нравов или о воскресении неожиданном, постниками умученного Эроса, во всяком случае откроется перед глазами потомков новая Москва, не только схемы вычерчивающая, но еще способная целоваться взасос, в героических антрактах, между двумя сальто-мортале декретов неожиданных, восстаний, боев, мировой суетни и прочих революционных будней. И кто знает, не позавидует ли девушка другого счастливого века,

в теплице избытком одуряющей, тем усталым, голодным, подчас кровью замаранным, или смерть ожидающим, которые срывали в дикой Москве скудные, минутные, трижды святые цветы любви, почти что невозможной?..

Впрочем, всё это, конечно, относится ко временам далеким, а пока что подобными обобщениями не задаваясь, быстро шел по пустынной площади Возов к Тане, к Тане ненаглядной, милой, с родинкой на шее, с улыбкой такой детской, что кажется, вот-вот цекист почтенный и то не выдержит от такой простой необычной радости, запляшет сдуру или расплчется, к Тане, не умевшей даже большевика от меньшевика отличить, но от одного слова которой забывал Возов все диаграммы свои, и сам, как ребенок, детские прозвища повторял, хлопал в ладоши или просто тихонько сидел, боясь шелохнуться, чтоб не рассыпалась Москва, монастырь старенький, Таня, любовь, любовь всегда и везде хрупкая, как спичка на ветру, а здесь в эти дни столь необъяснимая, что нечеловеческие руки могли лишь укрыть ее от заметающей мир вьюги.

Войдя в низенькую беленую комнату, где табачный дым, кипы газетные, портреты неистовцев всего света как бы смешивались с невыведенным запахом ладана, с духом акафистов¹, чая липового и вздохов скромных, образуя один туман веры, дикой алчбы, духоты, Возов успокоился мгновенно, о портфеле и ночном налетчике даже не вспоминая. Жадно глядел он на боковую дверцу, откуда должна была выйти Таня. Долго ждал. Часы на башне одиннадцать прозвонили. Наконец вышла Таня заплаканная, сгорбившись, кутая в большой платок вздрагивающие плечики. Со вчерашнего дня как переменялась! Будто

¹ Акафист — род хвалебного церковного песнопения.

шла и шла, пела только, а вот выскочил кто-то, навалил ей на плечи ношу, двум такой не снести — сломалась, идти пробует, с непривычки, что ни шаг, хочется наземь упасть, заплакать: не могу! Вскочил Возов:

”Таня, что с тобой? Иволга моя родненькая!..”

Но горько отстранилась Таня:

”Зачем вы снова пришли?”

”Снова!” Страшное, не понимая еще, почувствовал Возов, в голове ветром закружились квадратики, кружки, тяжелый с замочком портфель.

”Я теперь всё поняла. Вам не нужна любовь, только разверстка зачатий, пробирки химические. Чужой вы мне, может всё это так, прекрасно, верно... Когда вы ушли под вечер, я сбежала по лесенке, окликнула еще вас, вы не слышали, но это по слабости, — не вас, другого, вымышленного, не бывшего! А вы не нужны мне! Простите!”

И еще более склонившись под ношей новой, вышла Таня из комнаты. Выбежал и Возов, шапку оставив на вешалке, прямо во двор, на площадь, стараясь безмерную боль и ужас не выдать звериным отчаянным воем.

Снег падал, заметая мертвый пустой Кремль. Силились одолеть его слеповатые окошки кабинетов, где другие, еще здоровые и покойные, чертили стоэтажные схемы. Но белые, крупные непрерывно падающие хлопья душили крохотные огоньки. Только камни вздымались бойниц оскаленных, стен крепкобоких, кресты колоколен, будто изуверы, на костре вздымающие свое двуперстное знамение, жизни, силе, солнцу, железу наперекор.

Возов сел на тумбу у собора Двенадцати Апостолов. Он больше не сомневался, не надеялся вылечиться, не помышлял изловить врага. Потеряв сейчас там, в беленькой горнице, самое важное, невозвратимое, он

тихо, бесслезно плакал, а снег заносил его, желая стереть, смыть эту живую, чужую точку среди дивной пустыни. Древний Кремль как бы надвигался на Возова, довлея темным посмертным, вчерашним неоплаченным грехом. Из маленьких часовенок, церквей закоулчатых, низкосводчатых, из покоев царских и княжеских, с монахами, попивающими чаек у цариц, с замурованными, ослепленными, с огромными душными постелями, где ерзали на телесах порфирутробных монахи после чаепития, — выползал желтый, жаркий туман. Это шла на прищельца Русь — молитвенница похотливая, каторжанка гуляющая, крест на пузо, мир объедавшее, нацепившая, смиренница, молчальница, изуверка нежная.

Знал Возов — от нее не уйти. Разнюхает, вытащит, навалится большегрудая. Хотел он в страхе, будто пустынный крестом оградить себя тем, что еще недавно было живым, необоримым — миром, им сотворенным, своим державным "да будет свет". Вспомнил он чудную схему, волей безумной вытащил из завьюженного белого города, чуть вздыхавшего шагами редкими за Москвой-рекой, грядущую жизнь. Но тогда началось самое ужасное. Огромные, стеклянные дома, бетонные городища, пружинистые люди, скакуны в квадратных рубахах, смешались с игуменьями, с кельями, с подворьями, с былой полнотелой, любодеейной, кровавой суетой. Люди мигом насиживали просторные квадратики, и становились они уютными, жаркими, смрадными, как монашьи норы. Какие-то разгульные юнцы прорыли треугольники, а баба (хоть и профессор), голося над упокойничком, роя землю ногтями, разрыла под конец, раскидала последний безукоризненный круг смерти. Новое было в явной стачке с прежним, так что стерлась между ними грань, и пошли безобразить

у Чудова разновековые двойнички. А снег всё валил, едва торчала над ним косматая голова соглядатая живого, бедного ребенка, чей яркий шарик, купленный за пятак на Девичьем, сморщился, завял, приник к земле члена эркапэ, товарища Возова.

Так бы наверно и замерз он на несоответствующем месте, если б не услышал над самым ухом насмешливого баска:

”Что ж, товарищи, теперь переезжайте по крайней ниточке в крематорий, будьте ускомчелом”.

”Стой!” — отчаянно закричал Возов и кинулся за мерзким комедиантом. Но тот, подпрыгнув высоко, как вчера, исчез, расплылся в желтом небе.

Но не хотел на этот раз уступить одураченный Возов, не задумываясь полез он на холодные, скользкие камни Ивана Великого, карабкаясь по обезьяньи, завывая:

”Я тебя не выпущу!” — А сравнившись с куполом Благовещенским, не выдержал, оступился, тихо, будто снега ком, соскользнул вниз.

Что это? Эсеровские козни? Усталость от работы беспримерной? Или тяжкий отравный дух бывлой златоверхой, святошной крепости, где засели, у ворот посты выставив, разведчики иного века? Всё может быть!..


А главное, зря погиб дельный работник, хороший человек. Когда хоронили его 26-го февраля, сказал товарищ Вуль прочувствованное:

”Ему не суждено было войти в землю обетованную, хоть и был он истинным человеком коммуны”.

Все присутствующие слышали тогда, как кто-то сзади за гробом, венком помахивая, всхлипнул в ответ:

”Ускомчелом!”





МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА (1892—1941)

Первые произведения М. Цветаевой в прозе относятся к 1910 г., а самая значительная часть их была написана поэтессой в 30-е гг. во Франции.

Цветаева писала повести и рассказы, автобиографические очерки, эссе о поэтах-современниках, лирико-философские трактаты о творчестве, литературно-критические статьи. Она создает особый жанр, в котором свободно сочетаются, например, философские размышления со штрихами к литературным портретам и личными воспоминаниями. Неизменное главное действующее лицо ее прозы, о чем бы она не писала — сама Марина Цветаева, она присутствует, стоит за каждой написанной ею строкой. Поэтесса, пишущая прозу, словно не оставляет читателю никакой возможности думать иначе, чем думала она, автор. Ее проза носит сугубо лирический, личный, иногда интимный характер. Это — проза Поэта: она несет в себе черты поэтической пристрастности, даже романтического мифотворчества.

Проза Цветаевой автобиографична, но ее нельзя назвать мемуарной. Обладая отличной памятью, поэтесса, когда ей это было нужно, пренебрегала верностью и точностью деталей, нарушила хронологию, делая это исключительно в целях достижения максимальной поэтической убедительности. Но могла и ревностно чтить факты, не допуская малейшего их

изменения: "Во мне вечно и страстно борются поэт и историк", — признавалась она.

При всей автобиографичности этой прозы автор говорит в ней не только о себе, но и, вопреки субъективности поэта-лирика, обладает даром точно, зримо, метко рассказывать о своем времени.

Марина Цветаева писала о своей прозе: "Я, конечно, многое, всё, по природе своей, иносказую, но думаю — и это жизнь. Фактов я не трогаю никогда, я их только — толкую".

КИРИЛЛОВНЫ¹

Существовали они только во множественном числе, потому что никогда не ходили по одной, а всегда по две, даже с одним решетом ягод приходили по две, помоложе с постарше, — чуть помоложе с чуть постарше, ибо были они все какого-то собирательного возраста, — возраста собственного числа — между тридцатью и сорока, и все на одно лицо, загарное, янтарное, и из-под одинакового платочного — белого и бровного — черного края ожигало вас одинаковое, собирательное, око, тупилось в землю крупное коричневое веко с целой метелкой ресниц. И имя у них было одно, собирательное, и даже не имя, а отчество: Кирилловны, а за глаза — хлыстовки.

Почему Кирилловны? Когда никакого Кирилла и в помине не было. И кто был тот Кирилл, действительно ли им отец, и почему у него было сразу столько — тридцать? сорок? больше? — дочерей и ни одного сына? Потому что тот рыжий Христос, явно, не был его сын, раз Кирилловнам — не брат. Теперь бы я

¹ Первоначально в 1934 году рассказ печатался под названием "Хлыстовки" — по наименованию религиозной секты — хлысты.

сказала: этот многодочерний Кирилл существовал только как дочернее отчество. Тогда я над этим не задумывалась, как не задумывалась над тем, почему пароход — "Екатерина". Екатерина — и всё тут. Кирилловны — и всё тут.

Острое же звучание "хлыстовки", могшее бы поразить несоответствием с их степенностью и пристойностью, мною объяснялось ивами, под которыми и за которыми они жили — как стая белоголовых птиц, белоголовых из-за платков — из-за вечной присказки няни, ведущей мимо: "А вот и ихнее гнездо хлыстовское", — без осуждения, а так, простая отмета очередного с дачи Песочной в Тарусу этапа: "Вот часовню миновали... Вот и колода видна: полдороги... А вот и ихнее..."

Ихнее гнездо хлыстовское было, собственно, входом в город Тарусу. Последний — после скольких? — спуск, полная, после столького света, тьма (сразу полная, тут же зеленая), внезапная после той жары, свежесть, после сухости — сырость, и, по раздвоенному, глубоко вросшему в землю, точно из нее растущему бревну, через холодный черный громкий ручей, за первым по левую руку ивовым плетнем, невидимое за ивами и бузиною — "ихнее гнездо хлыстовское". Именно гнездо, а не дом, потому что дом за всеми этими зарослями был совершенно невидим, а если и приоткрывалась изредка калитка, глаз, потрясенный всей той красотой и краснотой, особенно смородинной, того сереющего где-то навеса, и не отмечал, не включал его, как собственного надбровного. О доме Кирилловн никогда не было речи, только о саде. Сад съедал дом. Если бы меня тогда спросили, что хлыстовки делают, я бы, не задумываясь: "Гуляют в саду и едят ягоды".

Но еще о входе. Это был вход в другое царство, этот вход сам был другое царство, затянувшееся на

всю улицу, если ее так можно назвать, но назвать так нельзя, потому что слева, кроме нескончаемого их плетня, не было ничего, а справа — лопух, пески, та самая "Екатерина"... Это был не вход, а переход: от нас (одинокого дома в одинокой природе) — туда (к людям, — на почту, на ярмарку, на пристань, и лавку Наткина, позже — на городской бульвар), — средостояние, междуцарствие, промежуточная зона. И, вдруг, озарение: а ведь не вход, не переход — выход! (Ведь первый дом — всегда последний дом!) И не только из города Тарусы выход, — из всех городов! Из всех Тарус, стен, уз, из собственного имени, из собственной кожи — выход! Из всякой плоти — в простор.

Из всей Тарусы, верней, из всех "гостей", то есть сластей, чужих детей... я больше всего любила эту секунду спуска, входа, нисхождения — в зеленую, холодную, ручьевую тьму, минования — серого нескончаемого ивово-бузинового плетня, за которым — так это у меня и осталось — все ягоды зреют сразу, клубника, например, вместе с рябиной, за которым всегда лето, всё лето сразу, со всем, что в нем красного и сладкого, где стоит только войти (но мы никогда не входили!), всё тебе в руку сразу: и клубника, и вишни, и смородина, и, особенно, бузина!

Вот яблок не помню. Помню только ягоды. Да яблок, как ни странно в таком городе, как Таруса, где их в урожайный год — а каждый год был урожайный! — на базар выносили бельевыми корзинами и их уже и свиньи не ели, — яблок у Кирилловн не было, потому что приходили они за ними к нам, в наш "старый сад", то есть нами состаренный и запущенный, с одичавшими ценнейшими сортами, полусъедобными, шедшими только на сушку. Но не они приходили за яблоками, не те, степенные, долуюкие, а они, то есть ихняя Богородица с Христом,

рыжим, худым, с раздвоенной бородой и глазами — теперь бы сказали: водопьяными, очень рвано одетым и босым, их Христос — с ихней Богородицей, старой, уже не янтарной, а кожевенной, кожаной, и хотя и не рваной, но все-таки страшноватой. Отношение родителей к этим набегам было... судьбинное. "Опять Христос приходил за яблоками..." или: "Опять Богородица с Христом возле стоят..." Те не спрашивали, эти не запрещали. Богородица с Христом были вроде домашнего бедствия, положенной напасти, рока, унаследованного вместе с домом, потому что Кирилловны в Тарусе были раньше нас, раньше всех, может быть, даже раньше самих татар, ржавые ядра которых (?) мы находили в ручье. Это был не набег, а побор. Нужно, однако, прибавить, что, когда мы, дети, их за этим делом заставляли, они, особенно Христос, все-таки как-то сторонились, хоронились, уединялись за другую яблоню, где Богородица уже торопливо донабивала большой холщовый мешок. Не говорили они в такие минуты друг с другом ничего, да и нам бы в голову не пришло голосом подтвердить свое присутствие, мы как-то молчаливо условились, что они — не делают, а мы — не видим, что кого-то, либо их, либо нас, а может быть, и тех, и других — нет, что это всё — так себе...

— Папа! Христа видели!

— Опять приходил?

— Да.

— Ну и Христос с ним!..

Про унесенные яблоки родители не спрашивали, а мы не сообщали. Иногда мы рыжего Христа заставляли тут же спать в стогу сена. Старая Богородица сидела рядом и обвевала его от мух. Тогда мы, не сказав ни слова, на цыпочках, высоко подняв брови и глазами указывая друг другу на "находку", уходили, отходили к нашей "яме", где сидели, болтая ногами,

косясь на всё-спящего и всё-отгоняющую. Иногда няня не нам, а при нас говорила — бонне, что Христос этот горький пьяница и что опять его подобрали в канаве, но так как мы сами постоянно сидели в канаве, нас это не изумляло, слово же горький для нас объясняло пьяницу, вызывая во рту живую полынь (мы постоянно ели всё), после которой можно выпить целое ведро воды.

Иногда Христос пел, а Богородица подпевала, и нас совершенно не удивляло, что поет она больше мужским, а он — скорее женским, тонким, и не удивляло, во-первых, потому, что цветаевских детей ничто не удивляло, во-вторых же потому, что она была темная и крепкая, а он — светлый и слабый, и получалось, что каждый поет именно своим голосом, себе в масть и в мощь, — как комар, например, и шмель. И шла в нашу зеленую канаву из яблонной зеленой дичи песня про какие-то сады зеленые... Мы даже никогда не задумывались (и сейчас не знаю), были ли они мать и сын, так же, как никогда не спросили не только родителей, но даже няни, которой не боялись, почему Богородица и Христос, и не потому, что мы верили, что это — те, с иконы (те — на иконе, а кроме того, все-таки — яблоки...) — не те, но и не-те. Может быть, и сами имена внушали трепет — не может же каждый называться Богородицей и Христом! — и устанавливали какую-то их несомненность и неподсудность. Наше тогдашнее чувство рассуждало приблизительно так: "Раз они воруют яблоки, то не совсем Христос и Богородица, но так как они все-таки Христос и Богородица, значит, они не совсем воруют". Да и не воровали — брали, а скрывались, теперь вижу, не от нас (дети сами — нищие и воры), а от глаз. Так звери, так дети (и не только дети и звери, прошу верить!) не выносят, когда на них смотрят. Словом, для нас эта бродячая

пара была не просто — люди, а если не настоящие те, то все-таки как-то — тоже. Жили (то есть ходили, про жизнь ничего не знаю) Христос и Богородица от других отдельно, и всегда вместе, никогда порознь, и я часто думала, на них глядя: "Так, должно быть, та Богородица ходила за тем Христом", — потому что она именно за ним ходила, именно по пятам, ровно настолько отставая, чтобы не наступить ему на пятую (босую). Ходила, и телом будто поддерживала, — он весь расслабленный, весь расстроенный, точно шел не туда, куда, сам хочет, а куда нога хочет, да и нога-то не твердо знала, куда: то в колею, то о камень, то на кочку, а то вовсе без всякого смыслу — вкось. Так их встречали и на базаре, и по дорогам, и в лопушиных полях, на Оке... Но — как те, сестры, за яблоками никогда не приходили, так эти, мать и сын, ягод никогда не приносили, даже и подумать было дико, что вдруг — Христос — викторию принес! И, поскольку низко кланялись при встрече Кирилловны, постольку никогда не кланялась Богородица, про Христа и говорить нечего — не только взглядом, всем телом мимо глядел!

— Барыня! Кириллны викторию принесли... Братъ прикажете?

Стоим в сенях, мать спереди, мы, по трусости, чтобы не выказать внезапной на лице жадности (бессознательное матерью преследовалось больше всего!) — за ней, чуть-чуть из-за ее бока вытягивая шею. Оторвешься, наконец, от клубничной россыпи и вдруг встретишься с только чуть поднятым от земли (мы были такие маленькие!) хлыстовским взглядом, с понимающей ее усмешкой. И пока пересыпают из решета в миску ягоды, Кирилловна (которая? всё одна! одна во всех тридцати лицах, под всеми тридцатью платками!), не отпуская всё еще потупленными глазами уходящую спину матери,

спокойно и неторопливо — в ближайший, смелейший, жаднейший рот (чаще — мой!) ягоду за ягодой, как в прорву. Откуда она знала, что мать не позволяет есть — так, до обеда, по многу сразу, вообще — жадничать? Оттуда же, откуда и мы, — мать нам словами никогда ничего не запрещала. Глазами — всё.

Кирилловны, удостоверяю это с усладой, меня любили больше всех, может быть, именно за эту мою жадность, цветущность, крепость, — Андрюша был высок и худ, Ася мала и худа, — за то, что такую вот дочку они бы, бездетные, хотели, одну — на всех!

”А меня хлыстовки больше любят! — с этой мыслью я, обиженная, засыпала. — Асю больше любят мама, Августа Ивановна, няня (папа по доброте ”больше любил” — всех), а меня зато — дедушка и хлыстовки!” Поблагодарил бы меня чинный остзейский выходец за такое объединение!

Есть у меня из всех видений райского сада Тарусы одно самое райское, потому что — единственное. Хлыстовки нас всем семейством пригласили на сенокос, и, о удивление, изумление (мать не выносила семейных прогулок, вообще ничего — скопом, особенно же своих детей — на людях), о, полное потрясение, нас — взяли. Настоял, конечно, отец.

— Эту будет тошнить, — возражала поверх моей заранее виноватой головы мать, — непременно растрясет на лошадях и будет тошнить. Ее всегда тошнит, везде тошнит, совершенно не понимаю, в кого она. Папашу (так она звала того ”дедушку”) не тошнит, меня не тошнит, тебя не тошнит, наконец ни Лёру, ни Андрюшу, ни Асю не тошнит, а ее от одного вида колес уже тошнит.

— Ну, стошнит... — кротко соглашается отец, — стошнит, и вся беда... (И, явно уже думая о другом:) стошнит — и чудесно. (И спохватываясь:) А может быть, и нет — на свежем воздухе...

— При чем тут свежий воздух? — горячится мать, заранее оскорбленная дорожным зрелищем. — Что вагон — что воз — что лодка — что ландо, на рессорах, и без рессор, на пароме, на ascenseur'e¹ — всегда тошнит, везде тошнит, а еще морской называли!

— Меня пешком не тошнит, — робко-запальчиво вставляю я, расхрабрившись от присутствия отца.

— Посадим лицом к лошади, возьмем мягких лепешек, — уговаривает отец, — платье, наконец, на смену...

— Только я с ней рядом сидеть не хочу! Ни рядом, ни напротив! — раздражается Андрюша, давно уже мрачневший лицом. — Каждый раз меня с ней сажают, как тогда в вагоне, помнишь, мама, когда...

— Возьмем одеколону, — продолжает отец, — а рядом сяду — я. Ты только, пожалуйста, не удерживайся, — конфиденциально, мне, — замутит — скажи, остановим лошадей и слезешь, продышишься. Не на пожар ведь... А действительно, странно: отчего тебя всегда тошнит? (И, примирительно: — Природа, природа, ничего с ней не поделаешь. Даже так можешь: "Папа, мне хочется сорвать во-он тот мак!" Соскочишь побыстрее и побежишь подальше — чтобы не расстраивать маму!)

Словом, поехали — и с тем самым моим маком в руке — доехали — до хлыстовского сенокоса, далеко за Тарусой, в каких-то их разливных лугах.

— Ай Марина-малина, чего ж такая зеленая? Рано встала, голубка? Не проспалась, красавица? — Кирилловны — окружая, оплетая, увлекая, передавая из рук в руки, точно вовлекая меня в какой-то хоровод, все сразу и разом завладевали мной, как каким-то своим общим хлыстовским

¹ На лифте (фр.).

сокровищем. Своих — ни папы, ни мамы, ни бонны, ни няни, ни Лёры, ни Андрюши, ни Аси, я в том раю не помню. Я была — их. С ними гребла и растрясала, среди них, движущихся, отлеживалась, с ними ныряла и вновь возникала, как та жучка в бессмертных стихах ("впопыхах!"), с ними ходила на ключ, с ними разводила костер, с ними пила чай из огромной цветной чашки, как они, отгрызая сахар, с ними бы...

"Маринушка, красавица, оставайся с нами, будешь наша дочка, в саду с нами жить будешь, песни наши будешь петь..." — "Мама не позволит". — "А ты бы осталась?" Молчу. "Ну, конечно бы не осталась — мамашу жалко. Она тебя небось во-он как любит?" Молчу. "Небось и за деньги не отдаст?" — "А мы мамашу и не спросим, сами увезем! — какая-то помоложе. — Увезем и запрем у себя в саду и никого пускать не будем. Так и будет она жить с нами за плетнем. (Во мне начинает загораться дикая жгучая несбыточная безнадежная надежда: а вдруг?) Вишни с нами будешь брать, Машей тебя будем звать..." — та же, певуче. "Не бойся, голубушка, — постарше, приняв мой восторг за испуг, — никто тебя не возьмет, а придешь ты к нам в гости в Тарусу с папашей и мамашей, али с нянькой — небось каждый воскресный день мимо ходите, всё на вас смотрим, вы-то нас не видите, а мы-то всё-о видим, всех... В белом платье придешь пикеевом, нарядная, в башмачках на пуговках..." — "А мы тебя оденем в на-аше! — подхватывает та певучая неугомонная, — в черную ря-ску, в белый платочек, и волосы твои отрастим, коса будет..." — "Да что ты ее, сестрица, страшишь! Еще впрямь поверит! Каждому своя судьба. Она и так наша мечтанная будет, — гостья наша мечтанная, дочка мысленная..."

И, обняв, прижав, подняв, поддав — ух! на воз, на гору, в море, под небо, откуда всё сразу видно: и папа в чесучевом пиджаке, и мама в красном платочке, и Августа Ивановна в тирольском, и желтый костер, и самые далекие заливы песка на Оке...

Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самая красная и крупная в наших местах земляника.

Но если это несбыточно, если не только мне не лежать, но и кладбища того уж нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирилловны шли к нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу, поставили, с тарусской каменоломни, камень:

Здесь хотела бы лежать
МАРИНА ЦВЕТАЕВА

СКАЗКА МАТЕРИ

— Мама, кого ты больше любишь: Мусю или меня? Нет, не говори, что всё равно, всё равно не бывает, кого-нибудь всегда чу-уточку больше, другого не меньше, но этого чу-уточку больше! Даю тебе честное слово, что не обижусь (с победоносным взглядом на меня), — если — Мусю.

Всё, кроме взгляда, было чистейшее лицемерие, ибо и она, и мать, и, главное, я отлично знали — кого, и она только ждала *убийственного* для меня слова, которого я, покраснев, с не меньшим напряжением ждала, хотя я знала, что не дождусь.

— Кого — больше? Зачем же непременно кого-нибудь больше? — с явным замешательством (и явно оттягивая) — мать. — Как же могу больше любить тебя или Мусю, раз вы обе мои дочери. Ведь это было бы несправедливо...

— Да, — неуверенно и разочарованно Ася, проглотив уже мой победоносный взгляд. — А все-таки — кого? Ну, хоть чу-уточку, капельку, крошечку, точечку — больше?

— Жила-была мать, у нее было две дочери...

— Муся и я! — быстро перебила Ася, — Муся лучше играла на рояле и лучше ела, а зато Ася... Асе зато вырезали слепую кишку, и она чуть не умерла... и она, как мама, умела свертывать язык трубочкой, а Муся не умела, а вообще она была (с трудом и с апломбом) ми-ни-а-тюрная...

— Да, — подтвердила мать, очевидно не слышавшая и сочинявшая свою сказку дальше, а может быть, думавшая совсем о другом, о сыновьях, например, — две дочери, старшая и младшая.

— А зато старшая скоро состарилась, а младшая всегда была молодая, богатая, и потом вышла замуж за генерала, Его Превосходительство, или за фотографа Фишера, — возбужденно продолжала Ася, — а старшая за богадела Осипа, у которого сухая рука, потому что он убил брата огурцом. Да, мама?

— Да, — подтвердила мать.

— А младшая потом еще вышла замуж за князя и за графа, и у нее было четыре лошади: Сахар, Огурчик и Мальчик — одна рыжая, другая белая, другая черная. А старшая — в это время — так состарилась, стала такая грязная и бедная, что Осип ее из богадельни выгнал: взял палку и выгнал. И она стала жить на помойке, и столько ела помойки, что обратилась в желтую собаку, и, вот, раз младшая едет в ландо и видит: такая бедная, гадкая, же-елтая собака ест на помойке пустую кость, и — она была очень, очень добрая! — ее пожалела: "Садись, собачка, в экипаж!", а та (с ненавистным на меня взглядом) — сразу влезла — и лошади поехали. Но вдруг графиня поглядела на собаку и

нечаянно увидела, что у нее глаза не собачьи, а такие гадкие, зеленые, старые, особенные — и вдруг узнала, что это ее старшая, старая сестра, и разом выкинула ее из экипажа — и та разбилась на четыре части вдребезги!

— Да, — снова подтвердила мать. — Отца у них не было, только мать.

— А отец умер — от диабета? Потому что слишком много ел сахару, и вообще пирожных, разных тортов, кремов, пломбиров, шоколадов, ирисов, и таких серебряных конфет со щипчиками, да, мама? Хотя Захарьин ему запретил, потому что это вас сведет в могилу!

— При чем Захарьин, — внезапно очнулась мать, — это было давно, тогда еще никаких Захарьинных не было, и вообще никаких докторов.

— А слепая кишка была? Ап-пен-ди-цит? Такая маленькая, маленькая кишка, совсем слепая и глухая, и в нее всё сыпется: разные кости, и рыбы хребты, и вишневые кости тоже, и кости от компота, и всякие ногти... Мама, я сама видела, как Муся объела карандаш! Да, да, у нее не было перочинного ножика, и она чинила зубами, а потом глотала, всё чинила и глотала, и карандаш стал совсем маленький, так что она даже потом не могла рисовать, и за это меня страшно ущипнула!

— Врешь! — от негодования и изумления прохрипела я. — Я тебя ущипнула за то, что ты при мне объедала мой карандаш, с "Муся" чернилом.

— Ма-ама! — заныла Ася, но, по невыгодности дела, тут же меняя рейс, — а когда человек сказал да, а во рту — нет, то что же он сказал? Он ведь два сказал, да, мама? Он пополам сказал? Но если он в эту минуту умрет, то куда же он пойдет?

— Кто куда пойдет? — спросила мать.

— В ад или в рай? Наполовину враный. В рай?

— Гм... — сказала мать. — У нас — не знаю. У католиков на это есть чистилище.

— Я знаю! — торжествующе Ася. — Чистильщик Дик, который маленькому Лорду подарил красный футляр с подковами и лошадиными головами.

— И вот, когда тот разбойник потребовал, чтобы она выбрала, она, обняв их обеих сразу, сказала...

— Мама! — завопила Ася. — Я совсем не знаю, какой разбойник!

— А я знаю! — я, молниеносно. — Разбойник, это враг этой дамы, этой мамы, у которой было две дочери. И это, конечно, он убил их отца. И потом, так как он был очень злой, захотел еще убить одну из девочек, сначала двух...

— Ма-ама! Как Муся смеет рассказывать твою сказку?

— Сначала двух, но бог ему запретил, тогда — одну...

— И я знаю какую! — Ася.

— Не знаешь, потому что он сам не знал, потому что ему было все равно какую, и он только хотел сделать неприятность той даме — потому что она за него не вышла замуж. Да, мама?

— Может быть, — сказала мать, прислушиваясь, — но я этого и сама не знала.

— Потому что он был в нее влюблен! — торжествовала я, и уже безудержно: — И ему лучше было ее видеть в могиле, чем...

— Какие африканские страсти! — сказала мать. — Откуда это у тебя?

— Из Пушкина. Но я другому отдана, но буду век ему верна. (И после краткой проверки.) Нет, кажется, из "Цыган".

— А по-моему, из "Курьера", который я тебе запрещаю читать.

— Нет, мама, в "Курьере" — совсем другое. В "Курьере" были эльфы, то есть сильфы, и они кружились на поляне, а молодой человек, который ночевал в копне сена, потому что его проклял отец, вдруг влюбился в самую главную сильфиду, потому что она походила на молочную сестру, которая утонула.

— Мама, что такое молочная сестра? — спросила присмирившая, подавленная моим превосходством Ася.

— Дочь кормилицы.

— А у меня есть молочная сестра?

Мать, на меня:

— Вот.

— Фу! — сказала Ася.

— А Ася, мама, не моя, правда, мама?

— Не твоя, — подтвердила мать. — Потому что Асю кормила я, а тебя — кормилица. Твоя молочная сестра — дочь твоей кормилицы. Только у твоей кормилицы — был сын. Она была цыганка и очень злая и страшно жадная, до того жадная, что, когда дедушка ей однажды вместо золотых серег подарил позолоченные, она вырвала их из ушей и так втоптала в паркет, что потом ничего не могли найти.

— А у тех девочек, которых потом убили, сколько было кормилиц? — спросила Ася.

— Ни одной, — ответила мать, — их мать кормила сама, потому, может быть, так и любила и ни одной не могла выбрать и сказала тому разбойнику: "Выбрать я не могу и никогда не выберу. Убей нас всех". — "Нет, — сказал разбойник, — я хочу, чтобы ты долго мучилась, а обеих я не убью, чтоб ты вечно мучилась, что эту — выбрала, а другой... Ну, которую же?" — "Нет, — сказала мать. — Скорей ты умрешь, здесь передо мной стоя, от старости или от ненависти, чем я — сама осужу одну из моих дочерей на смерть".

— А кого, мама, она все-таки больше жалела? — не вытерпела Ася, — потому что одна была болезненная... плохо ела, и котлет не ела, и бобов не ела, а от наваги ее даже тошнило...

— Да! А когда ей давали икру, она мазала ее под скатерть, а селедку жеваную выплевывала Августе Ивановне в руку... и вообще под ее стулом всегда была помойка, — я, с ненавистью.

— Но чтобы она нечаянно не умерла с голоду, мама становилась перед ней на колени и говорила: "Ну ррради бога, еще один кусочек: открой, душенька, ротик, я тебе положу этот кусочек!" Значит, мама ее — больше любила!

— Может быть... — честно сказала мать, — то есть больше — жалела, хотя бы за то, что так плохо выкормила.

— Мама, не забудь про аппендицит! — взволнованно, Ася, — потому что у младшей, когда ей стукнуло четыре года, — тогда она стукнулась об камень, и у нее сделался аппендицит — и она бы наверное умерла — но ночью приехал доктор Ярхо — из Москвы — и даже без шапки и без зонтика, — а шел даже град! — и он был совершенно мокрый. Это — правда, мама, *святой человек?*

— Святой, — непреложно сказала мать, — я святее не встречала. И притом — совершенно больной, и мог бы тогда простудиться насмерть, — ведь какая гроза! Да еще, бедный, тогда так упал перед самой дачей...

— Мама! А почему у него не сделалась слепая кишка? Потому что он доктор — да? А когда доктор заболит — кто его спасет? Просто — бог?

— Всегда — бог. И тогда тебя — бог. Через доктора Ярхо.

— Мама, — я, устав слушать про Асю, — а почему, если он святой, он всегда говорит вместо живот —

пузо? "Что, Муся, опять пузо болит?" Ведь это неприлично?

— *Непривычно*, — сказала мать. — Может быть, его в детстве так научили? .. Конечно, странно. Но с таким сердцем и всё позволено. И я всегда, пока сама жива буду, буду ставить за его здоровье свечу.

— Мама, а что же те девочки, так и остались незарезанные? — после долгого общего молчания спросила Ася. — Или ему просто надоело, что она так долго думает, и он так — ушел?

— Не ушел, — сказала мать. — Не ушел, а сказал ей следующее: "Зажжем в церкви две свечи, одна будет..."

— Муся! А другая — Ася!

— Нет, имен в этой сказке нет. "... левая будет старшая, а правая младшая. Которая скорее догорит, ту и..." Ну, вот. Взяли две свечи, совершенно одинаковых...

— Мама! Одинаковых не бывает. Одна была все-таки чу-уточку, кро-охотку...

— Нет, Ася, — уже строго сказала мать, — я тебе говорю: совершенно одинаковые. "Сама зажигай", — сказал разбойник. Мать, перекрестясь, зажгла. И свечи стали гореть — ровно-ровно, и даже как будто не уменьшаясь. Уж ночь наступила, а свечи всё горят: одна другой не меньше, не больше, две свечи — как два близнеца. Тогда разбойник сказал: "Бог их знает, сколько еще времени будут гореть. Иди к себе, а я пойду к себе, а утром, как только солнце встанет, мы оба придем сюда. Кто первый придет — другого будет ждать".

Вышли и заперли дверь на огромный замок, а ключ положили под камень.

— А разбойник, мама, конечно, раньше пришел? Прибежал? — Ася.

— Погоди! Настало утро, взошло солнце. И вот, один другого не раньше, один другого не позже — с двух разных сторон — разбойник слева, мать справа — потому что от церкви расходились две совершенно одинаковых дороги, как две руки, как два крыла — и вот по разным дорогам, с двух разных сторон, шаг в шаг, секунда в секунду к церкви — а против церкви — солнце вставало! — разбойник и мать. Открывают замок, входят в церковь, и —

— Одна свечка совсем сгорела: че-ерная! А другая еще чу-уточку... — взволнованно Ася.

— Нет. Обе свечи горели ровно, одна другой не меньше, одна другой не больше, ни сколько не сгорев, ни на столечко не сгорев... Как вчера поставили — так и стояли. И мать стояла, и разбойник стоял, и сколько они так стояли — неизвестно, но когда она опомнилась — разбойника не было — как и куда ушел — неизвестно. Не дождалась его и в его разбойничьем замке. Только через несколько лет в народе пошел слух о каком-то святом отшельнике, живущем в пещере, и...

— Мама! Это был — разбойник! — закричала я. — Это всегда так бывает. Он, конечно, стал самым хорошим на земле, после бога! Только ужасно жаль.

— Что — жаль? — спросила мать.

— Разбойника! Потому что когда он так, как побитая собака, — поплелся — ни с чем! — она, конечно... я бы, конечно, его страшно полюбила: взяла бы его в дом, а потом бы непременно на нем женилась.

— Вышла бы за него замуж, — поправила мать. — Женятся — мужчины.

— Потому что она его и вперед любила, только она уже была замужем, как Татьяна.

— Да, но ты совершенно забыла, что он убил ее мужа, — сказала мать взволнованно, — разве можно выходить замуж за убийцу отца своих детей...

— Нельзя, — сказала я. — Ей бы по ночам было бы очень страшно, потому что тот бы стал являться к ней с отрубленной головой. И всякие звуки бы начались. И может быть, дети бы заболели... Тогда, мама, я бы сама стала отшельником и поселилась в канаве...

— А дети? — спросила мать глубоко-глубоко. — Разве можно бросить детей?

— Ну, тогда, мама, я стала бы писать ему стихи в тетрадку!

1934





БОРИС АНДРЕЕВИЧ ПИЛЬНЯК

(Борис Андреевич Вогау)
(1894—1941?)

Дореволюционное творчество Б. Пильняка тяготеет к изображению замедленного темпа уездной жизни, тяжелых отношений между людьми, смутных ожиданий перемен. Послереволюционный Пильняк обращается к картинам сдвинувшейся с привычных мест российской действительности, столкновения двух миров, беспощадного разрушения веками существовавшего уклада.

Писатель изображает революционную действительность в ее общих очертаниях, пытается объяснить происходящее через символические параллели между революцией и любовью, революцией и метелью и т.п. Он расширяет привычный материал литературы за счет малоизученного быта революции, за счет "запретных тем" — изображение интимной жизни, натуралистических сцен, например. Человеческие судьбы Пильняк обычно описывает конспективно, выделяя лишь узловые моменты. Критика упрекала писателя в отсутствии психологически разработанных характеров, в повышенном внимании к инстинктивному в человеческой личности, к проблемам пола, рода...

Важнейшее достоинство прозы Пильняка — передача колорита эпохи: жизнь и облик города 20-х гг., голодное и исполненное смертельной опасности время. Пильняк значительно обновляет

язык прозы за счет прямых лексических новшеств, смешения "индустриальной" лексики с диалектными, жаргонными, устаревшими словами. Его "орнаментальная проза" часто строится по принципу монтажа, с нарочито откровенными стыковками, зазорами и пробелами в повествовательной ткани, неожиданными поворотами сюжета, иногда даже вспять, немотивированными сменами повествовательных планов.

В 1937 году Борис Пильняк был незаконно репрессирован. Реабилитирован посмертно.

СМЕРТЕЛЬНОЕ МАНИТ

I

Пахнет июньское сено, в сущности, плохими духами, — и всё же нет запаха сладостнее, в июне ночами горько пахнет березами, и рассветы в июне — хрустальны.

То, чем встретит земля человека, то навсегда останется ему. Алена родилась в лесной сторожке, где были небо, сосны, песок и река. Но по реке вправо и влево были луга, и Алена знала от матери своей, что желтый зверобой, июньского цветения, — бородавки со стеблей его и листьев настоянные, — идет людям от груди; что лапчатка желтая — от головной боли и простуды помогает очень; что тысячелистники розовые и белые — от порезов, от порезов же и столетник; что шалфей пряный — от зубов, от горла, от зубов же — ромашка, можно еще ромашкой вытравить из чрева ребенка; что мята сладкая — от хрипоты в груди; что чистотел невзрачный — оранжевый сок из корешков его — от бородавок; что сороконедужник строгий — от

всех земных телесных болестей; что единственная трава от змеиного укуса — цветочек незаметный, синий — звездочка; что чертополохом синим, колючим, что растет на откосах, изгоняют из изб чертей. Вместе с матерью собирала Алена эти травы перед сенокосом в июне, — все они июньского цветения, кроме чертополоха, колкого и синего, августовского. Вместе с матерью ставила на травах для зимы настойки.

В июне родилась Алена, и навсегда осталось в памяти у нее июньское сено, сладко пахнущее, и вся июньская сенокосная страда.

Девочкой же узнала она, что — смертное манит.

Рядом со сторожкой проходила насыпь, и шел через реку железный мост, по которому, рокоча, пролетали поезда. Весной, в полоую воду, разливалась река, а люди ходили в заречье по мосту. Перед Пасхой, когда буйничала весна, таяли снега, слепило солнце и лес гудел птичьими токами, в ослепительный день проходил по насыпи студент, заречный барин. Был он молод и здоров, с фуражкой на светлых кудрях, в смазных сапогах, подходил к окошку, просил попить, смеялся.

— День-то какой, благодать! Тяга теперь какая. Через мост, значит, можно? — смеялся громко, беззаботно, красивый, молодой, здоровый, с расстегнутым воротом синей косоворотки и с капельками пота на белой шее. — Ах, благодать-то какая, тетка Арина!

Взглянул на Алену, усмехнулся, сказал:

— Дочка, что ли? Красавица будет. Ой, красавица!

Мать называла студента по имени-отчеству, говорила ему, чтобы шел — не смотрел вниз — вода по весне быстрая, закружится голова. Студент

снял фуражку, потрянул кудрями и ушел. Дошел до середины моста и бросился в воду: чудом спасся, — нанесло его водою на старый бык, оставшийся от прежнего моста.

А мать вечером рассказывала дочери, что — смертельное манит, манит полая вода к себе, манит земля к себе с высоты, с церковной колокольни, манит под поезд и с поезда. Девочкой не поняла этого Алена, — в тот вечер, когда шумело половодье и в открытое окно шел запах свежей земли. Но потом поняла, поняла уже девушкой: через несколько вёсен сама стояла на мосту в половодье и чувствовала, что манит, — манит вода, — неведомое, смертельное, — и углубила, поняла, что смертельное манит повсюду, что в этом — жизнь, манит кровь, манит земля, манит — бог.

Девушка ходила за реку, на село, на гулянки, пела на откосе с девушками песни и водила хороводы, встретила парня и полюбила его и быть бы свадьбе, но мать ее, Арина, вдруг заупрямилась, а потом покаялась дочери, говорила:

— Аленушка, ведь жених-то твой — родной твой братец. Грех... давно это было, молодая была, на сенокосе — согрешила с отцом его. Отец-то твой в солдатчине был. Грех приключился, — говорила тихо, шепотом, утирала кончиком платка уголки губ, некогда красивых.

Мать покаялась, а Алена перестала ходить на откос, проводила вечера около своей сторожки, ночами прислушивалась к перепелиному крику, следила за речным туманом и еще раз почувяла, что — смертельное — грех манит; грешное манит так же, как и святое, и рубежом всему — смерть.

Так прошла молодость, в избе под соломенным навесом, где были только небо, сосны, песок и река с лугами, с цветами и травами.

Потом была жизнь.

Любит каждый однажды, и всегда любовь несчастна, потому что после любви человек становится подлинно человеком, потому что страдание очищает, красота и радость любви — в тайне ее. И никто не знал, как тосковала Алена ночами, молодая, одинокая, с молодым своим телом, — в июне, в июньские сенокосные ночи. Поэтому она осталась и вековушкой, не вышла замуж до положенных своих двадцати лет, после которых редко берут уже девушку; поэтому не показывала никому и поминальной своей книжечки, где на первой странице было написано здравие раба божьего Алексея, первого ее жениха, кровного ее брата. Помогала матери в собирании трав, ходила за отца по рельсам с фонарем и зеленым флагом, пряла зимними вечерами на бесконечной прялке. Так было до двадцать четвертого года, остро начала тогда она чувствовать бога с смертельными его тайнами, ходила в церковь и молилась зарями, — ведь всегда религиозное связано с плотским, с телесным.

С тех пор, с того апреля, как мать рассказала о том, что смертельное манит, прошло пятнадцать лет. Из Алены-девочки стала красивая женщина, крепкая, румяная, широкая, с черными глазами, опущенными скромно долу.

Тот же молодой студент, что тогда смеялся и стоял под окошком с расстегнутым воротом, радостный и бодрый, — успел уже сильно разменять свою жизнь, так, как разменивали революцией ее многие русские бары: женился неудачно, метался с женой по России и за границей, всё время тоскуя по тихой, разумной жизни; разошелся с женою не скоро и трудно, потратив не это всё, что было отпущено ему для творения жизни; вернулся наконец в свою усадьбу, в

Марьян Брод, поселился один в старом доме, зарылся книгами. Был он уже зрелым мужчиной, с бородою окладистой, с усталыми уже глазами и печальной улыбкой.

И Алена ушла к нему жить. Правила народа нашего строги и просты, — каждый родившийся должен по весне обвенчаться, родить и потом умереть; всем отступившим от этого можно делать по-своему свою жизнь, — и не грех, если вековушка пойдет ко вдовцу в работницы, не грех, если ко вдове заезжают почтари со станции, — не осудит никто: ведь рожь в цветении своем несет колосы, ведь ржут по весне в полях лошади, токуют на токах птицы и поют на откосе девушки.

Алена ходила в церковь к обедне, дома плакала потихоньку, потом взяла на плечи сундучок свой и пешком пошла за реку, в усадьбу Марьян Брод, уходя остановилась в дверях, окинула взором избу, сказала тихо:

— Что же, прощайте. Ухожу.

И ушла, — никто не осудил, не понесла греха.

Опять был июнь. Во ржи в полях кричали перепела, небо было зеленым, солнце садилось на западе, и на востоке стал хрустальный серп; шла тихо, срывала колосики и высасывала сладко-вяжущий сок из будущих зерен.

III

В усадьбе у Полунина прожила она пять лет.

Пришла к нему вечером, поставила в кухне на скамью сундучок, прошла в его кабинет. Полунин сидел у стола. Сказала:

— Вот я пришла, — и, как мать ее, платком утерла уголки губ, еще красивых очень.

Полунин был из тех русских бар, что ищут правду и бога, и позвал к себе Алену он, потому что полюбил ее и еще потому, что думал в ней найти правдивое и естественное, отдохнуть с ней и создать жизнь правильную и крепкую. Они жили вдвоем в усадьбе, сами справляли хозяйство. Полунин учил Алену грамоте и читал с ней Жития, сам увлекающийся ими, ищущий подлинно русское.

Через полгода у них родилась дочь Наталья, — и Алена предалась ребенку, в нем и через него чувствуя жизнь. Была жизнь ее проста и сурова, как и жизнь Полунина, — вставала с зарей, молилась богу, шла доить коров, готовила к обеду, снова в полдень доила коров, была с ребенком, кормила его, пеленала, мыла. Никто к ней не ходил, не ходила и она никуда, кроме церкви. Зимой заметала их метелица, весной к самой усадьбе подходила река, осенью шли дожди и стояли пустынные, ясные, холодные дни. Полунин сидел за книгами, рубил дрова, говорил о правде и — не примечал, верно, что слова его о добре иной раз были черствы и злы, — люди стареют.

Год сменялся годом. Весны многое творят в жизни человеческой, — у Алены был еще июнь, пахнущий травами, с горьким березовым рассветом и с хрустальным серпом над горизонтом. Девочка Наталья умерла.

Смертельное — манит. Девочка Наталья умерла в апреле, и жизнь Алены стала пустой. Бог всегда был с нею — у нее в сердце. Хоронить ходили с Полуниным через мост, — разлилась река. Оттуда шли молча, рядом, на мосту остановились на минуту, — верно, каждый вспомнил о своей молодости, — пошли тихо дальше; в доме было сыро, пустынно и темно.

И когда подошел июнь, Алена решила — идти. Смертельное — манит, манит броситься с моста в

полюю воду, манит — в дали, в конец, чтобы идти, идти, — и есть люди, которые уходят.

Сзади была жизнь, в которой остались июнь с его травами, жених Алексей, дочь Наталья, быть может, Полунин, материна тайна, — впереди осталось смертельное — бог и дорога.

Утром сказала Полунину:

— Ухожу завтра, прощай!

— Куда уходишь?

— Так... в монастыри... куда придется... в святые места.

И ушла, отнесла сундучок свой к матери в сторожку, а на рассвете вышла, шла полями, ржаным морем, раскусывала сладко-вяжущие ржинки, смотрела в небо, шла от креста колокольного ко кресту, чуяла, — чуяла, как пахнет июнь, и думала, глядя на дорогу, что подорожники — от пореза, от лишаев, что синенькие звездочки — от змеиного укуса.

В монастырях молилась, — вынимала просвирки: за упокой...

Согрешила только однажды в монастырской гостинице, в темном коридоре; сладок грех около бога, и смертельное — манит.

1918

ВЕРНОСТЬ

Посвящаю Марку

Двадцать лет тому назад было подполье молодости, была революция, были явки в домах незнакомых, но родных людей, сходки в бурьянах кладбищ, митинги в пыли пригородных рощ, — было двадцать лет отроду, была студенческая фуражка, было — не вера, но —

знание, знание каждым мускулом и каждым лучом солнца, что мир прекрасен, жизнь — прекрасна, прекрасно человечество, — и всё — впереди. На митингах в кладбищенских бурьянах надо было говорить всем сердцем о грядущей справедливости мира, о революции, — мира, против которого восстал этот юноша, готовый обнять мир, — о революциях, которым этот юноша готов был отдать свою жизнь. Мир полицейских, жандармов, стражников, приставов — мир Империи — был враждебен и проклят, щетинился силою, бесправием, виселицами, тюрьмами, — и мир незнакомых домов, где были явки, где переутомленного человека кормили колбасой, поили чаем и осторожно укладывали спать на диване в столовой, иной раз двоих на одном диване, впервые встретившихся, — этот мир был миром братьев, миром справедливости, равенства, чести, где один за всех и все за одного, где нет слов "твое" и "мое", где направо тюрьма и смерть, налево — революция, ослепительная справедливость.

Этот рассказ посвящен любви.

Как приходит любовь, как уходит любовь и что дано человеку любовью? — великое ли бремя дано любовью человечеству и человеку — или великая радость, когда тяжесть любви — есть счастье? — как надо человеку нести любовь?

И всё же было у него в этом двадцатилетии однажды — только однажды, чтобы остаться в памяти на всю жизнь! — прекрасное наваждение. Он встретил ее на нелегальной квартире, и столовая в желтых обоях, где за столом человек в жилете читал "Русское богатство"¹, превратилась в чудесность, запомнившись на двадцатилетие, — и всё превратилось тогда в

¹ "Русское богатство" — литературно-художественный журнал (1876—1918), с 1880 г. издавался артелью писателей-народников.

чудесность: чашка чая, которую передавала эта девушка, слова, которые сказали они, его и ее дела, которые были и которые будут, — и весь мир провалился в чудесность, где море по колено, где мир по колено, и в этих высотах, где мир по колено, есть только она, ее слова, долетавшие из безмерных пространств, ее руки, передававшие баранки, косы, упавшие на грудь тяжестью спелых пшениц, голубые ее глаза, уходившие в бездонности — в безмерности пространств, где мир по колено. Толстый человек в жилете и с "Русским богатством" сказал тогда, что пора спать. Надо было одному остаться на диване в столовой. Миры перерекраивались чудесностью бессонницы. Рядом спала — или не спала? — девушка, которая была больше мира. Он не знал даже ее имени.

Это всё, что было в том двадцатилетии: жизнь сильнее человека, — это всё, что осталось тогда этому студенту на горькую и длинную память о чудесностях, которые бывают в мире, чтобы не повториться и чтобы остаться большою занозой на всю жизнь. — На другой же день тогда опять стали справа и слева смерти, его понесло по перекасти-полю, из города в город, с завода на завод, с явки на явку, по сотням квартир, по путям и перепутьям революции, где направо рядом городской Империи, впереди ослепительная справедливость и — путь только один — налево. Круги революции 905-го года замыкались, — и путь налево привел вправо: этот юноша оказался в тюрьме, сначала в уездной, затем в губернской, потом в пересыльной, чтобы затем коротать свое время в Коми-области, где слово "зыряны" значит — "оттесняемые". И в уездную, а потом губернскую и пересыльную тюрьмы, — приходила другая девушка, которую впервые он увидел в тюрьме и которая называлась его невестой, присланная товарищами.

Дальше была жизнь.

Как приходит любовь, как уходит любовь, что дано человеку любовью? — великое ли бремя дано человеку в любви или великая радость, когда бремя любви есть счастье? — Риф коралловый на морском дне, как ржинка в поле, как зверь, как Земной Шар, миры и солнца, — всё в этом космосе родится, чтобы жить, родить и — умереть. Человек живет, родившись, чтобы жить, родить и умереть. Всё живущее живет, чтобы рождаться. Рождением у человечества правит любовь. И давно надо было бы филологам и иным слововедам позаботиться о разработке и переработке слова любовь, ибо слово любовь — есть рождение, слово любовь есть — любовь собаки к человеку, а человека — к водке, — во имя любви люди шли и идут на костры и виселицы, и в публичных домах "играют" — в "любовь". Но понятия любви путаются не только многомысленностью слова любовь. Каждая историческая эпоха создавала и создает свои понятия любви, и каждая историческая эпоха имела свои законы рождения.

Дальше была жизнь.

Тогда в мытарства тюрем приходила девушка, которая называлась невестой, присланная товарищами, — и она вскоре приехала в Усть-Колым, в зырянское село, также сосланная. Через три месяца их повенчал зырянский поп. Через год у них родился первый ребенок. Через два года они были свободны с минусом шесть¹. Вся Россия хорошо знает эти минусы, три, шесть, все, — и они оказались в городе Томске, в Сибири. Революция была раздавлена, всероссийский городской покойствовал, — революционерам не приходилось даже зализывать ран. —

¹ Запрет в течении шести лет проживать в столичных городах России: Москва, Петербург.

Он, теперь муж и отец, проходил все свои пути и перепутья, те, которые называются жизнью. — После университета, который называется село Усть-Колым, он окончил Томский университет. Минусы были отжиты, и в Петербургском университете он доцентствовал. Молодым профессором он профессорствовал в Саратове. — Так прошло первое десятилетие. Тогда была объявлена война, мировая. — У него была семья, начавшая уже отстаиваться в профессорских традициях, когда по воскресеньям пирог с капустой, для друзей, вторник — день жены, а суббота — вечер мужа — для всех, кто хочет забрести. Дети рождались дружно, и каждый к пяти годам знал русскую грамоту и лопотал по-английски: жена была недурной матерью и недурной профессорской женой. — И только глубоко в памяти было знание, что такой минуты, когда мир по колению, никогда не было у него с женою. — Психические субстанции людей возникают и отливаются в формы для времени неизвестными путями: — Пушкин умер тридцати семи лет, уже в заповяди своей жизни, но человечеству навсегда он останется юношей и лицеистом, — Лев Толстой умер древним стариком, но человечеству он остался мальчиком, старцем с миропрятием ребенка, — этот профессор навсегда был гимназистом-абитуриентом, осьмиклассником, которому тесна гимназическая тужурка и надо расстегивать ворот гимназических уставов, грозящих кондуитом, и у которого — мир впереди, ибо старый — гимназический — мир разлезается, как разлезлись штаны.

Февральская революция встретила профессора в университетской квартире, в тишине кабинета, где стены скрыты полками книг. — Октябрьская революция нашла профессора в Смольном институте, с маузером, деревянная ручка которого торчала из

кармана летнего пальто. Половодья Октябрьской революции прошли для профессора так же, как для всех революционеров: фронтами, железнодорожными шпалами, верстами, которые вырастали в тысячи верст, которые уменьшались в вершки. 1922 год застал профессора ректором одной из новых революционных высших школ. — Семья, как всегда, была работной, покойной, крепкой, — чуть-чуть холодной.

И тогда пришел 1925 год, двадцатилетняя годовщина половодных подполий. — Был будничная профессорский, ректорский день; утром в восемь часов ректор принимал студентов и заседал в предметной комиссии; в десять — до часу ректор был в ректорском своем кабинете; с половины второго профессор читал лекции; в шесть коммунист, общественный деятель заседал в районном Совете; в десять профессор шел в университет экзаменовывать студентов. — Был декабрь, светили на улицах фонари, мёл около фонарей снежок. Профессор сошел с тротуара на улицу, пересек ее к бульварчику. Свет фонаря упал на лицо. И тогда окликнул его женский голос — давним студенческим именем:

— Сергей!

Профессор — Сергей — остановился. Он узнал сразу. Перед ним стояла — та, имени которой он не мог узнать, которая двадцать лет назад на однуединственную ночь поставила ночь так, что мир был по колено, и эта ночь никогда не забывалась. Профессор знал, конечно, что ему — сорок, что виски уже поседели, — профессор, перегруженный работой, в строгом профессорском быте, в крепких хомутах времени и дел. Перед профессором стояла — не восемнадцатилетняя — тирдцативосьмилетняя женщина, с глазами, радующимися встрече, но уставшими и поблекшими, — и прекрасными, и прекрасными для профессора.

...Давно надо было бы филологам и иным словоделам переработать, разработать слово "любовь". Любовь — есть рождение. Любовь — есть счастье. Любовь. — — Двадцатилетие было скинуто со счетов времени — именно потому, что нельзя бросаться временем перед любовью и перед счастьем, ибо время уходит, и лучше поздно, чем никогда. И у него и у нее были и семья и дети. Она приехала из городишка, где ее время закопано уездным врачеванием и зимними снегами. Она просто рассказала, что та единственная ночь — единственной была ее радостью, на всю жизнь, сделавшая жизнь ее не очень нужной. Они были уже стары для весенней любви: ее восемнадцать, его двадцать лет — канули в Лету. И у него, и у нее — были свои быты, традиции, усталости, привычки.

То, что было двадцать лет тому назад, оказалось, было единственным, ибо мир опять стал по колено, если может быть мир по колено ректору и профессору. — Они нашли силы порвать всё. Он оставил свой профессорский дом, таким, как он был, с детьми, женой, с традициями и друзьями, с книгами. Он переехал сначала в гостиницу, а потом на студенческий чердак, где позволяли ему жить те небольшие рубли, которые оставались у него сверх жалования, ибо жалованье он оставил семье. Она пришла к нему на студенческий его чердак, чтобы на керосинке поджаривать яичницу и одним-единственным для всего ножом резать колбасу, как в студенчестве.

Люди знают, что значит разорвать семью, которой двадцатилетие, где старшему ребенку семнадцать, а младшему четыре, где быт уже зацементировался и где оставляемый — жена, муж — остается для умирания, для боли, для вдовства, ибо у него всё позади, в величайшей несправедливости, — ибо легче

убить человека, чем пройти через смерть. — И надо главы писать о той любви, которая была пронесена через двадцатилетие, которая нашла силы всё порвать, стать поводом, чтобы строить заново, со студенчества, — которая забыла о морщинках времени у глаз, остановила время: надо писать главы о в е р н о с т и, побеждающей время.

Но это не конец рассказа.

Любовь есть рождение, ибо человек пришел, родившись, родить и умереть. Через год у них родился ребенок. — И он, и она — имели детей, родили детей, любили детей, растили детей: и — вот тогда, когда родился этот новый ребенок, — они вдруг узнали, что, в сущности, они не знали — что такое — рождение детей. У него были дети от женщины, которую, оказывается, он не любил; у нее были дети от мужчины, которого, оказывается, она не любила. Этот ребенок родился от любящих, и из всех детей этот единственный, рожденный в большие человеческие заповедни, был подлинным счастьем рождения. Он, профессор, пришел к ней в больницу. Около нее в корзинке лежал ребенок. В глазах у нее было счастье. В глазах у него было счастье. И оба они знали, что мир прекрасен, смерть в этом мире побеждена, всё в этом мире оправдано и, поистине, всё надо отдать за будущее, то, в котором будет жить этот единственный, рожденный в заповедни, но рожденный в любви, любимый каждым мускулом и каждой кровинкой отца и матери, как солнце в молодости, — сын, кусок их самих, их повторение, — новый человек! — ибо мир есть — верность.

1927





ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ ДОБЫЧИН

(1896—1936)

Л.И. Добичин начал печататься в 1924 г. Опубликовал два сборника рассказов и повесть.

Творчество писателя формировалось в рамках распространенного в русской прозе 20-х гг. стремления к малой форме. Рассказы его напоминают "обрывки хроники", с включением, на первый взгляд, ненужных подробностей, намеками на какой-то глубокий смысл, стремлением через мелочи и подробности создать тонкую психологическую характеристику персонажей. Быт в рассказах Добычина является отправной точкой для философского осмысления жизни и предстает в двух измерениях: реальном и сверхъестественном, запредельном. Внешний мир неизменно противопоставляется самоуглублению персонажей, сосредоточенности их на движении своего внутреннего мира: герои Добычина часто пребывают в состоянии задумчивости, мечтательности, предаются воспоминаниям. Авторское повествование нередко перебивается у Добычина музыкальными мотивами, рассказы изобилуют цитатами из стихов, песен. Из одного произведения в другое переходят у писателя важные смысловые понятия, как знаки "иного" мира: упоминания о Боге и культовых предметах, храмах, о смерти, о границе света и тьмы... В 1936 г. Л. Добичин покончил жизнь самоубийством при невыясненных обстоятельствах.

В. Каверин писал о прозе Л. Добычина: "Крошечные, по две-три страницы, рассказы написаны почти без придаточных предложений и представляют собой как бы бесстрастный перечень незначительных происшествий. Однако они читаются с напряжением, и это не напряжение скуки. Это поиски тех внутренних, подчас еле заметных, психологических сдвигов, ради которых автор взялся ходить незамеченным, о мимолетном, необязательном, встречающемся на каждом шагу. Его крошечные рассказы представляют собой образец бережливости по отношению к каждому слову".

ЛИДИЯ

1

На руке висела корзинка с покупками. Одеколон "Вуайаж" Зайцева вынула и любовалась картинкой: путешественники едут в санях. Внюхивалась. Правой рукой подносила к губам с белыми усиками на пятиалтынный мороженого.

— Лейся, песнь моя,
Пионерска-я!

Коренастенький, с засученными рукавами, с пушком на щеках, шагал сбоку и, смотря на ноги марширующих, солидно покрикивал:

—левой!

— Это кто ж такой? — спросила Зайцева.

— Вожатый, — пискнула белобрысая девчонка с наволокой и, взглянув на Зайцеву, распялила наволоку над головой и поскакала против ветра.

У запертой калитки дожидался Петька.

— Здравствуйте, — сказал он. — Утонул солдат.

Уселись за стол под грушей. Петька отвечал уроки. Зайцева рассеянно смотрела на забор.

Выкрутасами белелись облака. На горке, похожее на бронированный автомобиль, стояло низенькое серое Успенье¹ с плоским куполом.

— Рай был прекрасный сад на востоке.

— Прекрасный сад!..

После обеда муж читал газету. "Каковы китайцы", — восхищался он. Напился чаю и лег спать.

Пришла Дудкина в синем платье. Сидели под грушей. У ворот заблеяла коза.

Оживились. Почесали у нее между рогами, и она, довольная, полузакрыла желтые глаза с белыми ресницами.

— Водили к козлику? — интересовалась Дудкина.

Успенье стало черным на бесцветно-светлом небе. Выплыла луна.

— Я пробовала все ликеры, — сказала Дудкина задумчиво. — У Селезнева, на его обедах для учителей.

2

Зайцева, в кисейном платье с синими букетиками, оттопыривала локти, чтобы ветер освежал вспотевшие бока. Коротенькая Дудкина едва поспевала. Муж пыхтел сзади.

Свистуниха, в беленьком платочке, выскочила из ворот. Смотрела на дорогу.

— Принимаю икону, — похвалилась она.

— А мы — к утопленнику, — крикнул муж.

Остановились у кинематографа: были вывешены деникинские зверства. Из земли торчали головы закопанных. К дереву привязали девицу...

Перед приютом, вскрикивая за картами, сидели дефективные.

¹ Успенский собор, храм.

— Дом Зуева, — вздохнула Дудкина. — Здесь была крокетная площадка. Цвел табак...

Прошли казарму, красную, с желтым вокруг окон. Взявшись за руки, прогуливались по двое и по трое солдаты.

Над водоворотом толкались зрители. Играли на гитаре. Часовой зевал.

Зайцевы поковыряли кочку — нет ли муравьев. Муж развернул еду.

Молодые люди в золотых ермолках, расстегивая пуговицы, соскочили к речке.

— Нырни, — веселились они, — и скажи: под лавкой.

Смеялись: "Пока ты нырял, мы спросили, где тебя сделали".

Дудкина прищурилась. Муж щелкнул пальцами: "Эх, молодость!"

"Левой!" — замечталась Зайцева.

Возвращаясь, поболтали о политике.

— Отовсюду бы их, — кипятился муж.

— Нет, я — за образование нации, — не соглашалась Дудкина.

Встретились со Свистунихой. Она управилась с иконой и спешила, пока светло, к утопленнику.

3

Муж пришел насупленный. Из канцелярии он ходил купаться, в переулочке увидел клочок черной афиши с желтой чашей: голосуйте за партию с.-р. Вспомнил старое, растрогался... После обеда — повеселел.

— Утопленник, — рассказывал он новость, — выплыл.

Зайцева купила кнопок. Бил фонтанчик, и краснелись низенькие бегонии и герании перед статуей товарища Фигатнера.

Потемнело. С дерева сорвало ветку. Полетела пыль.

”Закусочная всех холодных закусок”, — прочла Зайцева над дверью. Вскочила.

— Я мыла голову, — уныло улыбаясь, сказала толстая хозяйка с распущенными волосами. Откупорила квас. — У меня печник: вчера поставила драчёну — получился сплошной закал.

На столе была ладонь с окурками. Две розы без ножек плавали в блюдечке.

Вбежала мокрая девица и, косясь внутрь комнаты, толстенькими пальцами отдирала от груди прилипавшую кофту.

— Радуга! — Девица выскочила. Вышли с хозяйкой на крыльцо.

Вожатый, коренастый, без пояса, босиком, размахивая хворостинкой, выпроваживал на улицу козла.

— Ихний? — просияла Зайцева.

Туча убегала. Кричали воробьи. Мальчишки высыпали на дорогу, маршировали:

Красная армия

Всех сильнее!

Плелись коровы. Важная и белая, раскачивая круглыми боками и задрав короткий хвостик на кожаной подкладке, шла коза. Зайцева позвала:

— Лидия, Лидия!

— Лидия, Лидия, — вывесились из окон дефективные.

Закат светил на вывеску с четырьмя шапками. Играли вальс. В окне лавочки висел ранец.

— Жоржик, — закричала Свистуниха и остановилась с ведрами в руках.

Это Лидию прежде звали Жоржиком: Зайцева переименовала. — Не женское имя, — объяснила она.
1925

САД

Делегаты окружного съезда союза медсантруд сидели на скамейке и беседовали о политике. Дорожные корзиночки стояли между ними. Утреннее солнце грело. Развалясь, они вытягивали ноги и блаженствовали.

Улыбаясь, делегатки медленно ходили вокруг клумб. Они смотрели на цветы, склоняя набок головы. — А в будущем году еще прекрасней будет, — говорил садовник Чау-Динши. Растроганные делегатки окружили его. — Можете пустить фонтан? — просили они.

Чернякова посмеялась, глядя на них. — Ишь, — сказала она. В красном галстуке, в кудряшках над морщинами, она сидела под акацией. — Господин китаец, что я вам скажу, — подозвала она. — Сегодня будем хоронить Таисию, уборщицу: вы, пожалуйста, уже. — С огромным удовольствием, — ответил Чау-Динши, и она встала и пожала ему руку. — Мы надеемся, — простилась она и, сорвав травинку, повернулась и пошла, мурлыча.

Поэтесса Липец встретила ее, и она остановилась и любезно поздоровалась: — Мое почтение, товарищ Липецкая, куда спешите?

Обмахнув скамейку, поэтесса села и откинулась. В сегодняшней газете были напечатаны ее стихи:

гудками встречен день. Трудящиеся
— и она, под плеск фонтана, декламировала их.

Чернякову ждали неприятности. Ей объявили, что ее уволят, если она будет принимать гостей. Она заголосила. — Это кучер доказал, — сказала она.

Гроб с Таисией прибыл из больницы. Кучер привязал вожжами лошадь и пришел сказать. Управделами отпустил конторщиц проводить Таисию. Построились за гробом. Чернякова, поправляя галстук, встала с профуполномоченным, за ними встали регистраторша с курьершей, а за ними — машинистки: Закушняк и Полуектова. — Но, — крикнул кучер и, держа концы вожжей, пошел рядом с телегой. Загремели по булыжникам колеса. Профуполномоченный взмахнул рукой, шесть голосов запели. Чау-Динши прошел по саду с колокольчиками и выпроводил посетителей. Он запер на замок калитку и догнал процессию. Чернякова оглянулась на него. Пенсионерка Закс, постукивая палкой, подскочила к нему и спросила, кто покойница. — Уборщица окрэспеэс, — ответил Чау-Динши любезно. — Знаю я ее, — сказала радостно пенсионерка Закс. — Я с ней служила вместе, когда я была секретарем союза работпрос. — Она посеменила, чтобы попасть в ногу, и запела, подымая голову, как курица, глотающая воду. Солнце жарило. Пыль набивалась в рты.

Таисию засыпали. Вскочив на дроги, кучер укатил. Девицы побежали. Секретарь союза медсантруд дал им по делегатскому талону на обед в столовой — надо было захватить места, пока не набрались сезонники. Пенсионерка Закс, попрыгивая, шла с китайцем. Чернякова возвращалась с профуполномоченным.

— Товарищ профуполномоченный, — учтиво говорила она, — на меня доказывают, но подумайте, какая моя ставка: двадцать семь рублей.

В окрэспеэс уже никого не было. Один отсекр окрэмбеит, товарищ Липец, инженер-электротехник,

еще сидел. Он подал заявление о прибавке и начал каждый день задерживаться. Он держал газету: был его портрет, его статейка и стихотворение его дочери: гудками встречен день. Трудящиеся

Чернякова заперла все двери и смотрела на него. — Товарищ Липецков, — почтительно сказала она, проведя ладонью по губам, — я уж пойду, а то сезонники наскочат. Ключ повесьте в телефонной, если милость ваша будет: у меня там ключевая соберительница, кассия ключевая.

Было жарко. Тротуар размяк. Телеги, подвозившие кирпич к постройкам, громыхали. Регистраторша, курьерша, машинистки Закушняк и Полуектова уже поели и плелись распаренные, ковыряя языком в зубах. Они перемигнулись с Черняковой. — Хорошо? — спросила она и заторопилась. Образованные люди чинно ели, отставляя пальцы и гоняя мух. На кадках пальм было выведено "Новозыбков". На стенах висели зеркала. Напротив Черняковой интересный кавалер любезничал с девицей. — Вы и сами лимонады, — наливая ей стаканчик, говорил он, — только красненькие. — Неужели я такая красненькая? — удивлялась она. — Ишь ты, — посмеялась Чернякова и, доев, утерла губы галстуком и вышла, повторяя этот разговор.

Стараясь обогнать друг друга, ей навстречу, бородатые, неслись сезонники. В окреспезс она открыла окна. Воздух ворвался. За крышами видны были луга, стада пестрелись, голые мальчишки бегали вдоль речки. Чернякова подоткнула юбку, засучила рукава и начала уборку. — Вы такие красненькие, — говорила она, делала приятную улыбку и смеялась.

Перестали грохотать телеги. Конартдив, резерв милиции и ассенобоз по очереди проскакали к речке:

подымалась пыль и затемняла солнце. Тусклое, оно спускалось к кепке памятника. Сад был полон. Женщины стояли у фонтана и бродили вокруг клумб. Мужчины, развалясь, в рубашках из "туаль-дю-нор", сидели. Волейбольщики скакали, отбивая головами мяч. Закс ходила за китайцем.

— Я воображаю, как вам скучно с нами, — говорила она. Чернякова подошла и слушала с участием. — Умерла Таисия, — сказала она, кашлянув. Побагровели облака и побледнели. Съезд союза медсантруд закрылся и запел "Вставай". Цветы запахли. Громкоговоритель закричал "Алло". Темно стало, присматривать за посетителями стало трудно. Чау-Динши прошелся с колокольчиком. Он запер на замок калитку и пошел к Прокопчику. Пенсионерка Закс и Чернякова провожали его. Фонари покачивались тихо. В окне у оптика стояли гипсовые головы в очках, и в их глазах то загоралось электричество, то гасло. — Господин китаец, это красота, — сказала Чернякова. — Замечательные вещи, — согласился Чау-Динши. Пенсионерка Закс, насупившаяся, простилась. — Не подумайте, что я устала, — предостерегла она.

Костры плотовщиков горели у реки. Луна всходила. Золотые буквы водной станции окреспез блестели. Поздние купальщики плескались в темноте. Прокопчик сосал трубку. Он был рад гостям. — Мое почтение, — приветливо здоровались они, — как поживаете? — и жали ему руку. — Прилетела культотдельша, — рассказал он, — требовала, чтобы все были в трусах. — Качали головами и смеялись. В городе горели огоньки. Вода журчала. — Кучер на меня доказывает, сукин сын, — пожаловалась Чернякова. — Эх, — сказала она, заиграла на губах и завертелась,

грохоча. Мужчины ей подтопывали. Галстук разлетался.

вы такие
красненькии, —

выводила она и трясла боками, топоча, и вскрикивала.

Поэтесса Липец, обратив лицо к луне, прогуливалась, и ее отец, отсекр окрэмбеит, прогуливался вместе с ней. Они прогуливались, отсмотрев спектакль, делегатские билеты на который получили от секретаря союза медсантруд. Шарф поэтессы Липец развевался. Глядя вверх, она покачивала головой и декламировала тихо:

гудками встречен день. Трудящиеся.





АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ

(Андрей Платонович Климентов)
(1899—1951)

Первые произведения А. Платонова появились в годы гражданской войны. Для него характерно сложное, нередко трагически-напряженное восприятие и противопоставление человека и природы, человека и общества. Писатель принял революцию как процесс глубоко народный, органический и творческий, вносящий разум и красоту во взаимоотношения человека и мира. Однако, будучи органически связанным с революцией, Платонов своевременно заметил опасность подмены творчества революционного народа идеологическими догмами. Современная писателю критика сочла такие "сомнения" неуместными, в 30-е годы его почти перестают печатать.

Одна из главных тем платоновского творчества: боязнь человека "остаться без смысла жизни сердца". Писатель видит мир глазами трудящегося человека, мучительно и напряженно осмысляющего свою жизнь, свое место в мире, свои связи с природой. Проза Платонова богата своей особой стилистикой: "неправильной" гибкостью языка, прекрасным косноязычием, в котором органично слились высокое и низкое, "прекрасное и яростное", соединением в его языке на первый взгляд несоединимого (абстрактная, высокая лексика и живое народное слово, часто предельно бытовое, наивное, даже примитивное),

”шероховатостью” фраз, особыми, столь характерными для народной речи ”спрямлениями”. Все это создает ощущение, что перед нами — своеобразное мышление вслух, когда мысль еще только рождается, возникает, ”примеряется” к действительности.

”Человечество — одно дыхание, одно живое теплое существо. Больно одному — больно всем. Умирает один — умирают все. Долой человечество — пыль, да здравствует человечество — организм... Будем человечеством, а не человеками в отдельности”, — писал Андрей Платонов.

КОНЧИНА КОПЁНКИНА

Вечером в степи начался дождь и прошел краем мимо Чевенгура, оставив город сухим; Чепурный этому явлению не удивился, он знал, что природа не мочит город в ненужное время. Однако целая группа прочих, вместе с Чепурным и Пиюсей, пошла в степь осмотреть мокрое место, дабы убедиться. Копёнкин не поверил дождю и никуда не пошел, а отдыхал с Двановым близ кузницы на плетне. Копёнкин плохо знал пользу разговора и сейчас высказывал Дванову, что воздух и вода дешевые вещи, но необходимые; то же можно сказать о камнях — они также на что-нибудь нужны. Своими словами Копёнкин говорил не смысл, а расположение к Дванову; во время же молчания томился:

— Товарищ Копёнкин, — спросил Дванов, — кто тебе дороже — Чевенгур или Роза Люксембург?

— Роза, товарищ Дванов, — с испугом ответил Копёнкин. — В ней коммунизма было больше, чем в Чевенгуре, оттого ее и убила буржуазия, а город цел, хотя кругом его стихия...

У Дванова не было в запасе никакой неподвижной любви, он жил одним Чевенгуром — и боялся его истратить; он существовал одними ежедневными людьми — тем же Копёнкиным, Гопнером, Пашицевым, прочими, но постоянно тревожась, что в одно утро они скроются куда-нибудь или умрут постепенно. Дванов наклонился, собрал былинку и оглядел ее робкое тело: можно и ее беречь, когда никого не останется.

Копёнкин встал навстречу бегущему из степи человеку. Чепурный молча и без остановки промчался в глубь города. Копёнкин схватил его за шинель и окоротил:

— Ты что спешишь без тревоги?

— Казаки! Кадеты на лошадях! Товарищ Копёнкин, езжай, бей, пожалуйста, а я — за винтовкой!

— Саш, посиди в кузне, — сказал Копёнкин. — Я их один кончу, только ты не вылазь оттуда, а я — сейчас.

Четверо прочих, ходивших с Чепурным в степь, пробежали обратно, Пиюся же где-то залег одиноким образом в цепь — и его выстрел раздался огнем в померкшей тишине. Дванов побежал на выстрел с револьвером снаружи; через краткий срок его обогнал Копёнкин на Пролетарской Силе, которая спешила на тяжелом шагу, и вслед первым бойцам уже выступала с чевенгурской околицы сплошная вооруженная сила прочих и большевиков, — кому не хватило оружия, тот шел с плетнёвым колом или печной кочергой, и женщины вышли совместно со всеми. Сербинов бежал сзади Якова Титыча с дамским браунингом и искал, кого стрелять. Чепурный выехал на лошади, что возил Прокофия, а сам Прокофий бежал следом и советовал Чепурному сначала организовать штаб и назначить командующего, иначе начнется гибель.

Чепурный на скаку разрядил вдаль всю обойму и старался нагнать Копёнкина, но не мог. Копёнкин перепрыгнул на коне лежачего Пиюсю и не собирался стрелять в противника, а вынул саблю, чтобы ближе касаться врага.

Враги ехали по бывшей дороге. Они держали винтовки поперек, приподняв их руками, не готовясь стрелять, и торопили лошадей вперед. У них были команда и строй, поэтому они держались ровно и бесстрашно против первых выстрелов Чевенгура. Дванов понял их преимущество и, установив ноги на ложбинке, сшиб четвертой пулей командира отряда из своего нагана. Но противник опять не расстроился: он на ходу убрал командира куда-то внутрь построения и перевел коней на полную рысь. В этом спокойном наступлении была машинальная сила победы, но и в чевенгурцах была стихия защищающейся жизни. Кроме того, на стороне Чевенгура существовал коммунизм. Это отчетливо знал Чепурный, и, остановив лошадь, он поднял винтовку и опустил наземь с коней троих из отряда противника. А Пиюся сумел из травы искалечить пулями ноги двум лошадям, и они пали позади отряда, пытаясь ползти на животах и копая мордами пыль земли. Мимо Дванова пронесся в панцире и лобовом забрале Пашинцев — он вытянул в правой руке скорлупу ручной бомбы и стремился взять врага одним умственным страхом взрыва, так как в бомбе не имелось начинки, а другого оружия Пашинцев с собой не нес.

Отряд противника сразу, сам по себе, остановился на месте, как будто ехало всего двое всадников. И неизвестные Чевенгуру солдаты подняли по неслышной команде винтовки в упор приближающихся прочих и большевиков, — и без выстрела продолжали стремиться на город.

Вечер стоял неподвижно над людьми, и ночь не темнела над ними. Враг гремел копытами по целине, он загораживал от прочих открытую степь — дорогу в будущие страны света, в исход из Чевенгура. Пашинцев закричал, чтобы буржуазия сдавалась, и сделал в пустой бомбе перевод на зажигание. Еще раз была произнесена в наступающем отряде неслышная команда — винтовки засветились и потухли, семеро прочих и Пашинцев были снесены с ног, а еще четверо чевенгурцев старались вытерпеть закипевшие раны и бежали убивать врага вручную.

Копёнкин уже достиг отряда и вскинул Пролетарскую Силу передом, чтобы губить банду саблей и тяжестью коня. Пролетарская Сила опустила копыта на туловище встреченной лошади, и та присела с раздробленными ребрами, а Копёнкин дал сабле воздушный разбег и помог ей всею живой силой своего тела, чтобы рассечь кавалериста прежде, чем запомнить его лицо. Сабля с дребезгом опустилась в седло чужого воина и с отжогом отозвалась в руке Копёнкина; тогда он ухватил левой рукой молодую рыжую голову кавалериста, освободил ее на мгновение для своего размаха и тою же левой рукой сокрушил врага в темя, а человека сбросил с коня на землю. Чужая сабля ослепила Копёнкину глаза; не зная, что делать, он схватил ее одной рукой, а другой отрубил руку нападавшего вместе с саблей и бросил ее в сторону вместе с грузом чужой, отбитой по локоть, конечности. Тут Копёнкин увидел Гопнера, тот бился в гуще лошадей с наганом, держа его за дуло; от напряжения и худобы лица или от сеченых ран кожа на его скулях и близ ушей полопалась, откуда выходила волнами кровь; Гопнер старался ее стереть, чтобы она не щекотала ему за шеей и не мешала драться. Копёнкин дал ногой в живот всаднику справа, от которого нельзя

проехать к Гопнеру, и только управился дать коню толчок для прыжка, иначе бы он задавил уже зарубленного Гопнера.

Копёнкин вырвался из окружения чужих, а с другого бока на разъезд противника напоролся Чепурный и несся на плохой лошади сквозь мечущийся строй кавалеристов, пытаясь убивать их весом винтовки, где уже не было патронов. От ярости одного высокого взмаха пустой винтовки Чепурный полетел долой с лошади, потому что не попал в намеченного врага, и скрылся в чаще конских, топчущихся ног. Копёнкин, пользуясь кратким покоем, пососал левую кровавую руку, которой он схватил лезвие сабли, а затем бросился убивать всех. Он пронизался без вреда через весь отряд противника, ничего не запомнив, и вновь повернул рычавшую Пролетарскую Силу обратно, чтобы теперь всё задержать на счету у памяти, иначе бог не даст утешения и в победе не будет чувства усталого труда над смертью врага. Пятеро кавалеристов оторвались от состава разъезда и рубили вдалеке сражающихся прочих, но прочие умели терпеливо и цепко защищаться — уже не первый враг загораживал им жизнь. Они били войско кирпичами и разожгли на околице соломенные костры, из которых брали мелкий жар руками и бросали его в морды резвых кавалерийских лошадей. Яков Титыч ударил одного коня горячей головешкой по задку так, что головешка зашипела от пота кожи под хвостом, — и завизжавшая нервная кобыла унесла воина версты за две от Чевенгура.

— Ты чего огнем дерешься? — спросил другой подоспевший солдат на коне. — Я тебя сейчас убью!

— Убивай, — сказал Яков Титыч. — Телом вас не одолеешь, а железа у нас нету...

— Дай я разгонюсь, чтобы ты смерти не заметил.

— Разгоняйся. Уж сколько людей померло, а смерть никто не считает.

Солдат отдалился, взял разбег на коне и срубил стоячего Якова Титыча. Сербинов метался с последней пулей, котрую он оставил для себя, и, останавливаясь, с испугом проверял в механизме револьвера — цела ли она.

— Я ему говорил, что убью, и зарубил, — обратился к Сербинову кавалерист, вытирая саблю о шерсть коня. — Пускай лучше огнем не дерется!

Кавалерист не спешил воевать — он искал глазами, кого бы еще убить и кто был виноват. Сербинов поднял на него револьвер.

— Ты чего? — не поверил солдат. — Я ж тебя не трогаю!

Сербинов подумал, что солдат говорит верно, и спрятал револьвер. А кавалерист вывернул лошадь и бросил ее на Сербинова. Симон упал от удара копытом в живот и почувствовал, как сердце отошло вдаль и оттуда стремилось вновь пробиться в жизнь. Сербинов следил за сердцем и не особо желал ему успеха: ведь Софья Александровна останется жить, пусть она хранит в себе слад его тела и продолжает существование. Солдат, нагнувшись, без взмаха разрезал ему саблей живот, и оттуда ничего не вышло — ни крови, ни внутренностей.

— Сам лез стрелять, — сказал кавалерист. — Если б ты первый не спешил, то и сейчас остался бы.

Дванов бежал с двумя наганами, другой он взял у убитого командира отряда. За ним гнались трое всадников, но их перехватили Кирей с Жеевым и отвлекли за собой.

— Ты куда? — остановил Дванова солдат, убивший Сербинова.

Дванов без ответа сшиб его с коня из обоих наганов, а сам бросился на помощь гибнущему где-то Копёнкину. Вблизи уже было тихо — сражение перешло в середину Чевенгура, и там топали лошадиные ноги.

— Груша! — позвал в наступившей тишине поля Кирей. Он лежал с рассеченной грудью и слабой жизнью.

— Ты что? — подбежал к нему Дванов.

Кирей не мог сказать своего слова.

— Ну, прощай, — нагнулся к нему Александр. — Давай поцелуемся, чтоб легче было.

Кирей открыл рот в ожидании, а Дванов обнял его губы своими.

— Груша-то жива или нет? — сумел произнести Кирей.

— Умерла, — сказал ему Дванов для облегчения.

— И я сейчас помру, мне скучно начинается, — еще раз превозмог сказать Кирей и здесь умер, оставив обледенелые глаза открытыми наружу.

— Больше тебе смотреть нечего, — прошептал Александр; он затаил его взор веками и погладил горячую голову. — Прощай.

Копёнкин вырвался из тесноты Чевенгура, в крови и без сабли, но живой и воюющий. За ним шли в угон четыре кавалериста на изнемогающих лошадях. Двое приостановили лошадей и ударили по Копёнкину из винтовок. Копёнкин обернул Пролетарскую Силу и понесся, безоружный, на врага, желая сражаться в упор. Но Дванов заметил его ход на смерть и, присев для точности прицела на колено, начал сечь кавалеристов из своей пары наганов, по очереди из каждого. Копёнкин наскочил уже на кавалеристов, опущенных по стремяна взволнованных лошадей; двое солдат выпали, а дру-

гие двое не успели выпростать ног, и их понесли раненые кони в степь, болтая мертвецами над собой.

— Ты жив, Саш? — увидел Копёнкин. — А в городе чужое войско, и люди все кончились... Стой! Где-то у меня заболело...

Копёнкин положил голову на гриву Пролетарской Силы.

— Сними меня, Саш, полежать внизу...

Дванов снял его на землю. Кровь первых ран уже засохла на рваной и рубленой шинели Копёнкина, а свежая и жидкая еще не успела сюда просочиться.

Копёнкин лег навзничь на отдых.

— Отвернись от меня, Саш, ты видишь — я не могу существовать...

Дванов отвернулся.

— Больше не гляди на меня, мне стыдно быть покойным при тебе... Я задержался в Чевенгуре и вот теперь кончаюсь, а Роза будет мучиться в земле одна...

Копёнкин вдруг сел и еще раз прогремел боевым голосом:

— Нас ведь ожидают, товарищ Дванов! — и лег мертвым лицом вниз, а сам стал весь горячий.

Пролетарская Сила подняла его тело за шинель и понесла куда-то в свое родное место на степной, забытой свободе. Дванов шел за лошадью следом, пока в шинели не разорвались тесемки, и тогда Копёнкин очутился полуголым, изрытый ранами больше, чем укрытый одеждой. Лошадь обнюхала скончавшегося и с жадностью начала вылизывать кровь и жидкость из провалов ран, чтобы поделить с павшим спутником его последнее достояние и уменьшить смертный гной.

Дванов поднялся на Пролетарскую Силу и тронул ее в открытую степную ночь. Он ехал до утра, не торопя лошади; иногда Пролетарская Сила останавливалась, оглядывалась обратно и слушала, но Копёнкин молчал в оставленной темноте; и лошадь сама начинала шагать вперед.

1928

СТАРЫЙ МЕХАНИК

Он возвратился домой, к своей жене, серьезный и печальный. Он был в поездке, в пурге и на морозе, почти сутки, но усталости не чувствовал, потому что всю жизнь привык работать.

Жена ничего сначала не спросила у мужа; она подала ему таз с теплой водой для умывания и полотенце, а потом вынула из печки горячие щи и поставила самовар, готовя мужу ужин и чай.

За ужином они сидели молча. Муж медленно ел щи и отогревался, но на лицо по-прежнему был угрюмым.

— Ты что это, Петр Савельич? — тихо спросила его жена. — Иль случилось что с ним, боль и поломка какая?

— У него палец греется... — сказал Петр Савельич.

— Который палец? — в тревоге спросила жена. — В позапрошлую зиму он тоже грелся — тот или прочий какой?

— Другой, — ответил Петр Савельич. — На третьем колесе у левой машины. Всю поездку мучился, боялся, что в кривошипе получилась слабизна и палец проворачивается на ходу. Мало ли что может быть!

— А может, Петр Савельич, у тебя там на дышлах либо в шатуне масло сорное! — сказала жена. — Ты

бы заставил помощника профильтровать масло иль сам бы попробовал. Я тебе в другой раз чистую тряпочку дам. А эдак-то куда ж оно годится, ты мне всю машину искалечишь, а чего тогда с тебя взять?

Петр Савельич положил деревянную ложку на хлеб и вытер усы большой старой рабочей рукой.

— Плохое масло я, Анна Гавриловна, не допущу. Плохое я сам лучше с кашей съем, а в машину всегда даю масло чистое и обильное, — зря говорить нечего!

— А палец-то ведь греется! — упрекнула Анна Гавриловна. — Глядишь, он погрееется, погрееется, а потом и отвалится, вот и станет машина калекой!

— Пока я жив буду, пока я механик, Анна Гавриловна, у меня ничего не отвалится, — ни в ходу, ни в покое.

— Да ну уж — ничего не отвалится! — серчала Анна Гавриловна. — Покуда со мной живешь, у тебя и не отвалится ничего, покуда ты и механик! А как начнешь дурить, как начнешь на разных вдов да баб бессемейных поглядывать, вот у тебя и повалится всё... Прохоров-то, Иван Матвеевич, поехал намедни, а у него колесо с паровоза соскочило. А что ж! Не надо было за чужими женщинами бегать — пусть хоть и помоложе они, да я ни одной из них ни в чем не уступлю, — не надо было свою жену с двумя ребятами в деревню на полгода отпраивать: иль повольничать захотелось? Вот и повольничал — спасибо, что тормозами вовремя состав ухватил, а то бы сколько оставил сирот, — ведь пассажирский вел, двадцать седьмой номер-бис... Ну, ешь уж щи, доедай начисто, а то прокиснут и жалко в помойку выливать...

Петр Савельевич вздохнул и доел щи.

— Колеса с паровозных осей не соскакивают, Анна Гавриловна, — сказал механик жене. — Это заблуждение. У Ивана Матвеевича бандаж на ходу

ослаб. А бандаж, Анна Гавриловна, это не целое колесо, отнюдь нет. Иван Матвеевич тут ни при чем: машина вышла из капитального ремонта, и бандаж в ремонте насадили недостаточно.

— А у тебя бы он тоже соскочил? — пыталась Анна Гавриловна.

Петр Савельич подумал и решил:

— У меня нет, у меня едва ли! Я бы учуял дефект.

— Ну и вот, а я про что же говорю! — с удовольствием подтвердила Анна Гавриловна.

— Что вот? — терпеливо удивился Петр Савельич. — Мне шестьдесят два года осенью сравнялось, а тебе пятьдесят четыре, а ты мне "вот" говоришь!

— С вами, мужиками, на старости лет только и случаются такие дела! — объяснила Анна Гавриловна. — Молодые-то теперь поумнели: женятся спозаранку и живут себе, детей да славу и почет наживают. А иной старик все по сторонам озирается, торопится: чего бы ему еще ухватить, что ему не досталось, чего бы ему еще не упустить, а то могила-то близка ведь!.. Помнишь Сеньку Беспалого: он беспризорную девчонку на квартиру привел...

— Помню, — произнес Петр Савельич. — Жизнь не бедное дело, в ней всё случается... Стели мне постель, я хоть спать и не буду, а так полежу.

Анна Гавриловна начала стелить кровать мужу и себе.

— Уснешь небось, — говорила она, нянчая подушки, чтоб они стали пышными и покойными для сна. — Чего тебе не спать: должно, всё тело затомилось на такой работе-то. Шутка сказать, а ведь ты у меня, Петр Савельич, механик! Ляжешь вот тут — и уснешь. Перина у нас мягкая, одеяло теплое, в комнате тихо, — чего тебе нужно-то!

— Ничего мне не нужно, Анна Гавриловна, — кротко сказал механик. — Я думаю, что палец в

машине болит... А сейчас ночь, темно, мой напарник тяжеловесный состав ведет — думает ли он там чего или просто глядит вперед, как сыч!

Анна Гавриловна постелила кровать и тоже загоревала было, но скоро отошла от горя.

— А ты не вдавайся в тоску, Петр Савельич, может быть, ничего не случится. Он, палец тот, сначала погрееется, а потом приработается — греться перестанет: железо тоже свыкается друг с другом — и терпит...

— Да какое там железо тебе! — негодуяще выразился Петр Савельич. — Тридцать лет с механиком живешь, а всё малограмотная, как кочегар в банной котельной...

Анна Гавриловна здесь промолчала; она понимала, когда надо уважать своего мужа и когда наставлять его.

Они легли спать и лежали молча. Петр Савельич слушал — не усиливается ли ветер на дворе, не начинается ли снова пурга, которая недавно улеглась; но в мире пока что было мирно и спокойно. Медленно шли стенные часы над кроватью, грустный сумрак ночи протекал за окном навстречу далекому утру, и стояла тишина времени.

Семья Петра Савельича была небольшая: она состояла из него самого, его жены и паровоза серии "Э", на котором работал Петр Савельич. Детей у них не было: родился давно один сын, но он пожил недолго и умер от детской болезни, а больше никто у них не рождался. И теперь даже младенческий образ сына уже стусеван был в памяти родителей: время, как мрак, покрывало его и удалило в свое забвение... Умерший сын точно ослабел и отстал где-то от своих

родителей и навсегда потерялся в земле. Слабый голос умершего еще звучал иногда в душевном воспоминании отца, но голос тот был уже еле слышен и не трогал болью сердце Петра Савельича; лишь в сновидении, очень редко, образ умершего сына, жалкий и смутный, но живой, близко виделся отцу, и тогда отец кричал по сыну и звал его к себе из могилы; однако это длилось одно небольшое мгновение, потому что механик сразу же просыпался, чтобы не умереть от горя во сне.

Петр Савельич прислушался. Ночь шла тихо, но где-то в сенях или на дворе осторожно треснула древесина, сжимаемая морозом. Снаружи, наверно, сейчас холод сгущал ночную изморозь, и видимость ухудшалась, — интересно, но трудно было в эту пору вести машину с тяжеловесным составом на тендерном крюке. У напарника Петра Савельича помощником работал молодой человек, просто юноша, по имени Кондрат. Сколько ему могло быть лет? Лет, должно быть, девятнадцать, двадцать. Столько же, пожалуй, что и сыну Петра Савельича и Анны Гавриловны, если бы он жил на свете.

Петр Савельич привстал на постели; тревожное предчувствие, еще прежде ясной мысли, обеспокоило его сердце. Он укрыл жену одеялом, чтоб она не проснулась, сошел с кровати и начал одеваться. Но Анна Гавриловна уже проснулась, как только Петр Савельич чуть пошевелился; она привыкла следить за мужем и тихо думала о нем все дни и ночи, чутко ощущая еле слышимый запах машины от его волос и одежды, когда муж был дома, и воображая его про себя, когда он находился в поездке.

— Куда тебя домовой несет? — спросила Анна Гавриловна. — Метель утихла, палец в машине притерпится, — чего тебе там за всех стараться? Там без тебя есть народ!

— Народ там есть, Анна Гавриловна, а меня там нет, — с терпением сказал Петр Савельич. — А без меня народ неполный!

— Да то как же! — рассердилась Анна Гавриловна. — Без тебя ведь весь свет пустой! А завтра, что ж, ты не спавши, значит, в рейс поедешь? Ну что ж, поезжай не спавши, — может, в хвост другому составу наедешь, либо весь паровоз на куски изувечишь, — тебя в тюрьму посадят, а я с тоски помру... Вот оно сразу всё и кончится!

— Будет тебе свои нервы портить, — произнес Петр Савельич. — Там помощником нынче Кондрат поехал, малый молодой, просто еще юноша, и скоро им в обратный конец ехать...

— Ну и что тебе Кондрат, малый молодой? — спросила Анна Гавриловна.

— А то, — сказал Петр Савельич, снарядившись в дорогу, — а то, что им в обратный конец четыре затяжных подъема надо одолеть. Там нужно силу тяги держать точно по котлу, чтоб сколько ты ни ехал, сколько ни тянул, а у тебя в котле и давление пара не падает, и уровень воды особо не понижается, — вот как надо котел содержать, понятно тебе стало?

— А чего ж тут и понимать-то? — сказала Анна Гавриловна. — Машина должна идти неугомонно, а пар упустишь, так она запыхается и станет...

— Ну вот, вроде верно, только неправильно: чем ей пыхать-то — ответил Петр Савельич. — А Кондрат котел на тяге не удержит. Машину он любит, но знает в ней далеко не всё. Да одну машину — это знать мало. Надо видеть всю целую природу — и погоду, и что у тебя на рельсах: мороз или жарко, и подъемы надо знать наизусть, и машина как себя чувствует сегодня...

— Пусть уж они без тебя там знают! — сообщила Анна Гавриловна. — Только нагрел постель, а уж вылез! Окоченеешь наружи!

— Я у котла согреюсь, — пообещал механик. — Скоро рабочий поезд пойдет, я на нем встречу свою машину на четвертом разъезде: там подъем такой, что станешь врастяжку и состав порвешь...

— Ты хоть еды-то возьми с собой, шут непокойный! — попросила жена.

— Я в буфете на вокзале пожую, — ответил Петр Савельич. — Ты спи себе в тепле и покое.

— С вами уснешь! — сказала Анна Гавриловна. — Как же, даете вы покой, старые черти...

Но Петр Савельич уже гремел щеколдой в сенях, уходя в зимнюю ночь; он не обижался на жену.

Возвратился домой Петр Савельич не скоро — к вечеру следующего дня. Он пришел вместе с Кондратом, молодым стесняющимся человеком, помощником машиниста.

Анна Гавриловна только поглядела своими знающими и чувствующими глазами на пришедших, но ничего не сказала и молча стала собирать им еду на стол.

— Мойтесь, чумазые работнички! — пригласила она затем. — Вам бы и есть-то давать не надо: по вас вижу — поломали вы машину... Всё тяжеловесы они возят и носятся как бешеные, аж рельсы воют. Водили бы потише, полегче, и паровозы бы у вас здоровые были, как упитанные толстые дети! А то ишь — большой клапан придумали! Я вам дам большой!

Петр Савельич и Кондрат оставили речь женщины без ответа. Им нечего было отвечать человеку, чуждому механике. Они помылись и сели за стол, угрюмые и безмолвные. Кондрат ел робко и мало,

чувствуя себя в гостях. Петр же Савельич, наоборот, кушал достаточно хорошо и обильно.

— Ешь больше! — говорил он Кондрату. — От пищи горе скорее пройдет, в пище есть своя добрая душа, и когда съешь ее, она в нас очутится...

— Я ем, Петр Савельич, — произнес Кондрат.

— Ешь, — приглашал механик. — Потом спать ляжешь... Анна Гавриловна, постели сыну постель!

Анна Гавриловна вначале обомлела и не могла даже ничего высказать разумного, но потом опомнилась.

— Который сын? — спросила она.

— Кондрат, — указал Петр Савельич. — Мы бездетные, а он без отца, без матери живет. Вот мы и квиты будем, он наш будет, а мы его — и всё! .. Стели ему постель на диване и помалкивай!

Анна Гавриловна стала стелить постель Кондрату, но она не помалкивала, а шептала слова про себя: "Паровоз сломал, теперь малого в сыновья привел, — ему только и дела, старому, что заботу мне выдумывать!"

Однако Петр Савельич расслышал эти размышления жены.

— Раз навсегда тебе говорю — замолчи! — сказал Петр Савельич. — Вот тебе Кондрат — люби его и действуй дальше по моей инструкции, пока не привыкнешь!

Кондрат сидел в грустном смущении и молчал.

— А паровоз наш где? — спросила Анна Гавриловна.

Старый механик покряхтел в тягостном чувстве.

— Машина в ремонт пошла! — ответил машинист. — Болящий палец ей вывернули, в топке связи потекли, и песку в песочнице не оказалось... Весь состав встал врастяжку на подъеме, его начали рвать вперед эти двое — Кондрат

и его механик, и у них вышло происшествие, а тяги не получилось...

— Вот тебе раз! — воскликнула Анна Гавриловна. — Вот так сын Кондрат!

— Как же ты пальца-то не услышал! — угрожающе сказал Кондрату Петр Савельич. — Ведь он стонал и кричал перед тем, как ему провернуться в гнезде!

— Форсировка большая была, — ответил Кондрат, — машину вели с полным дутьём, — гулко было, ничего не слышать...

— Ах, так! — произнес Петр Савельич. — Так тогда надо было увидеть звук, если его слышать нельзя... Ну ладно, будешь сыном, я тебя научу. А так вы нам все машины покалечите!

Анна Гавриловна поняла своего мужа. Она отвернула одеяло, положенное на диване для Кондрата, и подстелила туда пододеяльник, а подушку сбила в руках для мягкости: пусть Кондрат спит удобно и нежно, если надо его считать сыном, а сердце затем само привыкнет его любить.

Когда Кондрат улегся и засопел в глубоком сне, Петр Савельич и Анна Гавриловна долго стояли над спящим Кондратом, рассматривая его юное, утомленное и доверчивое лицо, открытый рот и закрытые, запавшие глаза.

— А ты паровоз любила, — огорченно произнес старый машинист, — и меня иногда вдобавок, а надо было вот его.

Старая женщина думала и молчала без ответа.

— Когда я увидел, что машина у них совсем изуродовалась и заболела, — говорил и советовался с женой Петр Савельич, — я поругал машиниста, а Кондрату хотел уши нарвать, но потом передумал — пусть, думаю, живет, я его усыновлю и воспитаю, чтоб из него большой механик вышел впоследствии лет...

— Будет нас слушаться, так и механик из него выйдет! — согласилась Анна Гавриловна.

— Это ты в точности подумала, Анна Гавриловна, — сообщил свое мнение механик. — А ты вот что, ты поговорила и хватит тебе, ты поставь сейчас тесто, а завтра утром оладьев для Кондрата испечешь. Его надо хорошо питать!

— А я хотела бы блинцов напечь, Петр Савельич, — возразила жена. — Они легче для моего желудка.

Старый механик не стал здесь спорить со своей женой. Он допускал самостоятельность ее суждения.

1940

НЕИЗВЕСТНЫЙ ЦВЕТОК

(Сказка-быль)

Жил на свете маленький цветок. Никто не знал, что он есть на земле. Он рос один на пустыре; коровы и козы не ходили туда, и дети из пионерского лагеря там никогда не играли. На пустыре трава не росла, а лежали одни старые серые камни, и меж ними была сухая мертвая глина. Лишь один ветер гулял по пустырю; как дедушка-сеятель, ветер носил семена и сеял их всюду — и в черную влажную землю, и на голый каменный пустырь. В черной доброй земле из семян рождались цветы и травы, а в камне и глине семена умирали.

А однажды упало из ветра одно семечко, и приютилось оно в яме меж камнем и глиной. Долго томилось это семечко, а потом напиталось росой, распалось, выпустило из себя тонкие волоски корешка, впились ими в камень и в глину и стало расти.

Так начал жить на свете тот маленький цветок. Нечем было ему питаться в камне и глине; капли дождя, упавшие с неба, сходили по верху земли и не проникали до его корня, а цветок все жил и жил и рос помаленьку выше. Он поднимал листья против ветра, и ветер утихал возле цветка; из ветра упали на глину пылинки, что принес ветер с черной тучной земли; и в тех пылинках находилась пища цветку, но пылинки были сухие. Чтобы смочить их, цветок всю ночь сторожил росу и собирал ее по каплям на свои листья. А когда листья тяжелели от росы, цветок опускал их, и роса падала вниз; она увлажняла черные земляные пылинки, что принес ветер, и разъедала мертвую глину.

Днем цветок сторожил ветер, а ночью росу. Он трудился день и ночь, чтобы жить и не умереть. Он вырастил свои листья большими, чтобы они могли останавливать ветер и собирать росу. Однако трудно было цветку питаться из одних пылинок, что выпадали из ветра, и еще собирать для них росу. Но он нуждался в жизни и превозмогал терпением свою боль от голода и усталости. Лишь один раз в сутки цветок радовался: когда первый луч утреннего солнца касался его утомленных листьев.

Если же ветер подолгу не приходил на пустырь, плохо тогда становилось маленькому цветку, и уже не хватало у него силы жить и расти.

Цветок, однако, не хотел жить печально; поэтому, когда ему бывало совсем горестно, он дремал. Все же он постоянно старался расти, если даже корни его глодали голый камень и сухую глину. В такое время листья его не могли напитаться полной силой и стать зелеными: одна жилка у них была синяя, другая красная, третья голубая или золотого цвета. Это случалось оттого, что цветку недоставало еды, и мучение его обозначалось в листьях разными цветами.

Сам цветок, однако, этого не знал: он ведь был слепой и не видел себя, какой он есть.

В середине лета цветок распустил венчик вверху. До этого он был похож на травку, а теперь стал настоящим цветком. Венчик у него был составлен из лепестков простого светлого цвета, ясного и сильного, как у звезды. И, как звезда, он светился живым мерцающим огнем, и его видно было даже в темную ночь. А когда ветер приходил на пустырь, он всегда касался цветка и уносил его запах с собою.

И вот шла однажды поутру девочка Даша мимо того пустыря. Она жила с подругами в пионерском лагере, и нынче утром проснулась и заскучала по матери. Она написала матери письмо и понесла письмо на станцию, чтобы оно скорее дошло. По дороге Даша целовала конверт с письмом и завидовала ему, что он увидит мать скорее, чем она.

На краю пустыря Даша почувствовала благоухание. Она поглядела вокруг. Вблизи никаких цветов не было, по тропинке росла одна маленькая травка, а пустырь был вовсе голый; но ветер шел с пустыря и приносил оттуда тихий запах, как зовущий голос маленькой неизвестной жизни. Даша вспомнила одну сказку, ее давно рассказывала ей мать. Мать говорила о цветке, который все грустил по своей матери — розе, но плакать он не мог, и только в благоухании проходила его грусть.

”Может, это цветок скучает там по своей матери, как я”, — подумала Даша.

Она пошла в пустырь и увидела около камня тот маленький цветок. Даша никогда еще не видела такого цветка — ни в поле, ни в лесу, ни в книге на картинке, ни в ботаническом саду, нигде. Она села на землю возле цветка и спросила его:

— Отчего ты такой?

— Не знаю, — ответил цветок.

— А отчего ты на других непохожий?

Цветок опять не знал, что сказать. Но он впервые так близко слышал голос человека, впервые кто-то смотрел на него, и он не хотел обидеть Дашу молчанием.

— Оттого, что мне трудно, — ответил цветок.

— А как тебя зовут? — спросила Даша.

— Меня никто не зовет, — сказал маленький цветок, — я один живу.

Даша осмотрелась в пустыре.

— Тут камень, тут глина! — сказала она. — Как же ты один живешь, как же ты из глины вырос и не умер, маленький такой?

— Не знаю, — ответил цветок.

Даша склонилась к нему и поцеловала его а светящуюся головку.

На другой день в гости к маленькому цветку пришли все пионеры. Даша привела их, но еще задолго, не доходя до пустыря, она велела всем вздохнуть и сказала:

— Слышите, как хорошо пахнет. Это он так дышит.

Пионеры долго стояли вокруг маленького цветка и любовались им, как героем. Потом они обошли весь пустырь, измерили его шагами и сосчитали, сколько нужно привезти тачек с навозом и золою, чтобы удобрить мертвую глину.

Они хотели, чтобы и на пустыре земля стала доброй. Тогда и маленький цветок, неизвестный по имени, отдохнет, а из семян его вырастут и не погибнут прекрасные дети, самые лучшие, сияющие светом цветы, которых нету нигде.

Четыре дня работали пионеры, удобряя землю на пустыре. А после того они ходили путешествовать в другие поля и леса и больше на пустырь не приходили. Только Даша пришла однажды, чтобы проститься с

маленьким цветком. Лето уже кончалось, пионерам нужно было уезжать домой, и они уехали.

А на другое лето Даша опять приехала в тот же пионерский лагерь. Всю долгую зиму она помнила о маленьком, неизвестном по имени цветке. И она тотчас пошла на пустырь, чтобы проведать его.

Даша увидела, что пустырь теперь стал другой, он зарос теперь травами и цветами, и над ним летали птицы и бабочки. От цветов шло благоухание, такое же, как от того маленького цветка-труженика.

Однако прошлогоднего цветка, жившего меж камнем и глиной, уже не было. Должно быть, он умер в минувшую осень. Новые цветы были тоже хорошие; они были только немного хуже, чем тот первый цветок. И Даше стало грустно, что нету прежнего цветка. Она пошла обратно и вдруг остановилась. Меж двумя тесными камнями вырос новый цветок — такой же точно, как тот старый цвет, только немного лучше его и еще прекраснее. Цветок этот рос из середины стеснившихся камней; он был живой и терпеливый, как его отец, и еще сильнее отца, потому что он жил в камне.

Даше показалось, что цветок тянется к ней, что он зовет ее к себе безмолвным голосом своего благоухания.

1950





ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ (1899—1977)

В.В. Набоков литературную известность приобрел в середине 20-х годов за границей (эмигрировал в 1919г.), часто пользовался псевдонимом Сирин.

Прозу его отличает точная образность, энергичность и блестящая резкость языка, необычайное разнообразие приемов: "нет двух рассказов, написанных в одной манере" (Г. Струве). Критики сравнивали его то с шахматистом, испытывающим чистую радость от комбинаций, то с фокусником, который поражает зрителя и "тут же показывает лабораторию своих чудес". Действительность для Набокова — это только основа для самоценных художественных комбинаций. Сюжеты и образы часто основываются на материале воспоминаний, его герои постоянно что-то вспоминают, восстанавливают в своей памяти, что дает автору возможность воспроизвести предмет изображения, описания с наибольшей отчетливостью, выпуклостью.

Пространство, в котором живут персонажи Набокова, двоemiрно: реальная действительность выступает как демонстративная выдуманность, а параллельно ей предполагается "настоящая" нереальность, "потусторонность", которая управляет жизнью, судьбой человека и мира. Герои же оказываются той самой точкой, в которой соприкасаются, сходятся реальность и "потусторонность", и герои становятся ареной борьбы между ними. А задача

писателя, по Набокову, приоткрыть занавес над этой "потусторонностью", раскрыть механизм ее влияния на жизнь, судьбу человека и мира. По мнению исследователя П. Бицилли, произведения Набокова — вариации на тему "жизнь есть сон", и потому задача героя и писателя — "проснуться" для действительного мира, для подлинной жизни, "звуки и образы" которой "извне проникают" в повседневность.

ГРОЗА

(Из книги рассказов "Возвращение Чорба", 1930)

На углу, под шатром цветущей липы, обдало меня буйным благоуханием. Туманные громады поднимались по ночному небу, и когда поглощен был последний звездный просвет, слепой ветер, закрыв лицо рукавами, низко пронесся вдоль опустевшей улицы. В тусклой темноте, над железным ставнем парикмахерской, маятником заходил висячий щит, золотое блюдо.

Вернувшись домой, я застал ветер уже в комнате: — он хлопнул оконной рамой и поспешно отхлынул, когда я прикрыл за собою дверь. Внизу, под окном, был глубокий двор, где днем сияли, сквозь кусты сирени, рубашки, распятые на светлых веревках, и откуда взлетали порой, печальным лаем голоса, — старьевщиков, закупателей пустых бутылок, — нет-нет, — разрыдается искалеченная скрипка; и однажды пришла тучная белокурая женщина, стала посреди двора, да так хорошо запела, что из всех окон свесились горничные, нагнулись голые шеи, — и потом, когда женщина кончила петь, стало необыкновенно тихо, —

только в коридоре всхлипывала и сморкалась неопрятная вдова, у которой я снимал комнату.

А теперь там внизу набухала душная мгла, — но вот слепой ветер, что беспомощно сполз в глубину, снова потянулся вверх, — и вдруг — прозрел, взмыл, и в янтарных провалах в черной стене напротив заметались тени рук, волос, ловили улетающие рамы, звонко и крепко запирали окна. Окна погасли. И тотчас же в темно-лиловом небе тронулась, покатилась глухая гряда, отдаленный гром. И стало тихо, как тогда, когда замолкла нищая, прижав руки к полной груди.

В этой тишине я заснул, ослабев от счастья, о котором писать не умею, — и сон мой был полон тобой.

Проснулся я оттого, что ночь рушилась. Дикое, бледное блистание летало по небу, как быстрый отсвет исполинских спиц. Грохот за грохотом ломал небо. Широко и шумно шел дождь.

Меня опьянили эти синеватые содрогания, легкий и острый холод. Я стал у мокрого подоконника, вдыхая неземной воздух, от которого сердце звенело, как стекло.

Всё ближе, всё великолепнее гремела по облакам колесница пророка. Светом сумасшествия, пронзительных видений, озарен был ночной мир, железные склоны крыш, бегущие кусты сирени. Громовержец, седой исполин, с бурной бородою, закинутой ветром на плечо, в ослепительном, летучем облачении, стоял, подавшись назад, на огненной колеснице и напряженными руками сдерживал гигантских коней своих: — воронья масть, гривы — фиолетовый пожар. Они понесли, они брызгали трескучей искристой пеной, колесница кренилась, тщетно рвал вожжи растерянный пророк. Лицо его было искажено ветром и напряжением, вихрь, откинув складки,

обнажил могучее колено, — а кони, взмахивая пылающими гривами, летели — всё буйственнее — вниз по тучам, вниз. Вот громовым шепотом промчались они по блестящей крыше, колесницу шарахнуло, зашатался Илья, — и кони, обезумев от прикосновения земного металла, снова вспрянули. Пророк был сброшен. Одно колесо отшибло. Я видел из своего окна, как покатился вниз по крыше громадный огненный обод и, покачнувшись на краю, прыгнул в сумрак. А кони, влача за собой опрокинутую, прыгающую колесницу, уже летели по вышним тучам, гул умолкал, и вот — грозовой огонь исчез в лиловых безднах.

Громовержец, павший на крышу, грузно встал, плесницы¹ его заскользили, — он ногой пробил слуховое окошко, охнул, широким движением руки удержался за трубу. Медленно поворачивая потемневшее лицо, он что-то искал глазами, — верно колесо, соскочившее с золотой оси. Потом глянул вверх, вцепившись пальцами в растрепанную бороду, сердито покачал головой, — это случилось вероятно не впервые, — и, прихрамывая, стал осторожно спускаться.

Оторвавшись от окна, спеша и волнуясь, я накинул халат и сбежал по крутой лестнице прямо во двор. Гроза отлетела, но еще веял ветер. Восток дивно бледнел.

Двор, что сверху казался налитым густым сумраком, был на самом деле полон тающим туманом. Посередине, на тусклом от сырости газоне, стоял сутулый, тощий старик в промокшей рясе и бормотал что-то, посматривая по сторонам. Заметив меня, он сердито моргнул:

— Ты, Елисей?

¹ Плесницы (устар., книжн.) — обувь в виде сандалий.

Я поклонился. Пророк цокнул языком, потирая ладонью смуглую лысину:

— Колесо потерял. Отыщи-ка.

Дождь перестал. Над крышами пылали громадные облака. Кругом, в синеватом, сонном воздухе, плавали кусты, забор, блестящая собачья конура. Долго шарили мы по углам, — старик кряхтел, подхватывая тяжелый подол, шлепал тупыми сандалиями по лужам, и с кончика крупного костистого носа свисала светлая капля. Отодвинув низкую ветку сирени, я заметил на куче сору, среди битого стекла, тонкое железное колесо, — видимо от детской коляски. Старик жарко дохнул над самым моим ухом и поспешно, даже грубовато отстранив меня, схватил и поднял ржавый круг. Радостно подмигнул мне:

— Вот куда закатилось.

Потом на меня уставился, сдвинув седые брови, — и, словно что-то вспомнив, внушительно сказал:

— Отвернись, Елисей.

Я послушался. Даже зажмурился. Постоял так с минуту, — и дольше не выдержал...

Пустой двор. Только старая лохматая собака с поседелой мордой вытянулась из конуры и, как человек, глядела вверх испуганными карими глазами. Я поднял голову. Илья карабкался вверх по крыше, и железный обод поблескивал у него за спиной. Над черными трубами оранжевой кудрявой горой стояло заревое облако, за ним второе, третье. Мы глядели вместе с притихшей собакой, как пророк, поднявшись до гребня крыши, спокойно и неторопливо перебрался на облако и стал лезть вверх, тяжело ступая по рыхлому огню.

Солнце стрельнуло в его колесо, и оно сразу стало золотым, громадным, — да и сам Илья казался теперь

облаченным в пламя, сливаясь с той райской тучей, по которой он шел всё выше, всё выше, пока не исчез в пылающем воздушном ущелье.

Только тогда хриплым утренним лаем залился дряхлый пес, — и хлынула рябь по яркой глади дождевой лужи; от легкого ветра колыхнулась пунцовая герань на балконах, проснулись два-три окна, — и в промокших клетчатых туфлях, в блеклом халате я выбежал на улицу и, догоняя первый, сонный трамвай, запахивая полы на бегу, всё посмеивался, воображая, как сейчас приду к тебе и буду рассказывать о ночном воздушном крушении, о старом сердитом пророке, упавшем ко мне во двор.

РОЖДЕСТВО

I

Вернувшись по вечереющим снегам из села в свою мызу, Слепцов сел в угол, на низкий плюшевый стул, на котором он не сиживал никогда. Так бывает после больших несчастий. Не брат родной, а случайный неприметный знакомый, с которым в обычное время ты и двух слов не скажешь, именно он толково, ласково поддерживает тебя, подает оброненную шляпу, — когда всё кончено, и ты, пошатываясь, стучишь зубами, ничего не видишь от слез. С мебелью — то же самое. Во всякой комнате, даже очень уютной и до смешного маленькой, есть нежилой угол. Именно в такой угол и сел Слепцов.

Флигель соединен был с деревянной галереей — теперь загроможденной сугробом — с главным домом, где жили летом. Незачем было будить,

согреть его, хозяин приехал из Петербурга всего на несколько дней и поселился в смежном флигеле, где белые изразцовые печки истопить — дело легкое.

В углу, на плюшевом стуле, хозяин сидел, словно в приемной у доктора. Комната плавала во тьме, в окно, сквозь стеклянные перья мороза, густо синел ранний ветер. Иван, тихий, тучный слуга, недавно сбривший себе усы, внес заправленную, керосиновым огнем налитую, лампу, поставил на стол и беззвучную опустил на нее шелковую клетку: розовый абажур. На мгновение в наклоненном зеркале отразилось его освещенное ухо и седой еж. Потом он вышел, мягко скрипнув дверью.

Тогда Слепцов поднял руку с колена, медленно на нее посмотрел. Между пальцев к тонкой складке кожи прилипла застывшая капля воска. Он растопырил пальцы, белая чешуйка треснула.

II

Когда на следующее утро, после ночи, прошедшей в мелких нелепых снах, вовсе не относившихся к горю, Слепцов вышел на холодную веранду, так весело выстрелила под ногой половица, и на бледную лавку легли райскими ромбами отраженья цветных стекол. Дверь поддалась не сразу, затем сладко хряснула, и в лицо ударил блистательный мороз. Песком, будто рыжей корицей, усыпан был ледок, облепивший ступени крыльца, а с выступа крыши, остриями вниз, свисали толстые сосули, сквозящие зеленоватой синевой. Сугробы подступали к самым окнам флигеля, плотно держали в морозных тисках оглушенное

деревянное строеньеце. Перед крыльцом чуть задумались над гладким снегом белые купола клумб, а дальше сиял высокий парк, где каждый черный сучок окаймлен был серебром, и елки поджимали зеленые лапы под пухлым и сверкающим грузом.

Слепцов, в высоких валенках, в полушубке с каракулевым воротником, тихо зашагал по прямой, единственной расчищенной тропе в эту ослепительную глубину. Он удивлялся, что еще жив, что может чувствовать, как блестит снег, как ноют от мороза передние зубы. Он заметил даже, что снежный куст похож на застывший фонтан, и что на склоне сугроба — песьи следы, шафранные пятна, прожегшие наст. Немного дальше торчат столбы мостика, и тут Слепцов остановился. Горько гневно столкнулся с перил толстый пушистый слой. Он сразу вспомнил, каким был этот мост летом. По склизким доскам, усеянным сережками, проходил его сын, ловким взмахом сачка срывал бабочку, севшую на перила. Вот он увидел отца. Неповторимым смехом играет лицо под загнутым краем потемневшей от солнца соломенной шляпы, рука тербит цепочку и кожаный кошелек на широком поясе, весело расставлены милые, гладкие, коричневые ноги в коротких саржевых штанах, в промокших сандалиях. Совсем недавно, в Петербурге, — радостно, жадно поговорив в бреду о школе, о велосипеде, о какой-то индийской бабочке, — он умер, и вчера Слепцов перевез тяжелый, словно всю жизнь наполненный гроб, в деревню, в маленький белокаменный склеп близ сельской церкви.

Было тихо, как бывает только в погожий, морозный день. Слепцов, высоко подняв ногу, свернул с тропы и, оставляя за собой в снегу

синие ямы, пробрался между стволов удивительно светлых деревьев к тому месту, где парк обрывался к реке. Далеко внизу, на белой глади, у проруби, горели вырезанные льды, а на том берегу, над снежными крышами изб, поднимались тихо и прямо розоватые струи дыма. Слепцов снял каракулевый колпак, прислонился к стволу. Где-то очень далеко кололи дрова, — каждый удар звонко отпрыгивал в небо, — а над белыми крышами придавленных изб, за легким серебряным туманом деревьев, слепо сиял церковный крест.

III

После обеда он поехал туда, — в старых санях с высокой прямой спинкой. На морозе туго хлопала селезенка вороного мерина, белые веера проплывали над самой шапкой, и спереди серебряной голубизной лоснились колеи. Приехав, он просидел около часу у могильной ограды, положив тяжелую руку в шерстяной перчатке на обжигающий сквозь шерсть чугун, и вернулся домой с чувством легкого разочарования, словно там, на погосте, он был еще дальше от сына, чем здесь, где под снегом хранились летние неисчислимые следы его быстрых сандалий.

Вечером, сурово затосковав, он велел отпереть большой дом. Когда дверь с тяжелым рыданием раскрылась и пахнуло каким-то особенным, незимним холодком из гулких железных сеней, Слепцов взял из рук сторожа лампу с жестяным рефлектором и вошел в дом один. Паркетные полы тревожно затрещали под его шагами. Комната за комнатой заполнялись желтым светом; мебель в саванах

казалась незнакомой; вместо люстры висел с потолка незвонящий мешок, — и громадная тень Слепцова, медленно вытягивая руку, проплывала по стене, по серым квадратам занавешенных картин.

Войдя в комнату, где летом жил его сын, он поставил лампу на подоконник и наполовину отвернул, ломая себе ногти, белые створчатые ставни, хотя все равно за окном была уже ночь. В темно-синем стекле загорелось желтое пламя — чуть коптящая лампа, — и скользнуло его большое, бородатое лицо.

Он сел у голого письменного стола, строго, исподлобья, оглядел бледные в синеватых розах стены, узкий шкаф вроде конторского, с выдвигаемыми ящиками снизу доверху, диван и кресла в чехлах, — и вдруг, уронив голову на стол, страстно и шумно затрясся, прижимая то губы, то мокрую щеку к холодному пыльному дереву и цепляясь руками за крайние углы.

В столе нашел тетради, расправилки, коробку изпод английских бисквитов с крупным индийским коконом, стоявшим три рубля. О нем сын вспоминал, когда болел, жалел, что оставил, но утешал себя тем, что куколка в нем, вероятно, мертвая. Нашел он и порванный сачок — кисейный мешок на складном обруче, и от кисеи еще пахло летом, травяным зноем.

Потом, горбась, всхлипывая всем корпусом, он принялся выдвигать один за другим стеклянные ящики шкапа. При тусклом свете лампы шелком отливали под стеклом ровные ряды бабочек. Тут, в этой комнате, вон на этом столе, сын расправлял свою поимку, пробивал мохнатую спинку черной булавкой, втыкал бабочку в пробковую щель меж раздвижных дощечек, распластывал, закреплял полосами бумаги еще свежие, мягкие крылья.

Теперь они давно высохли — нежно поблескивали под стеклом хвостатые махаоны, небеснолазурные мотыльки, рыжие крупные бабочки в черных крапинках, с перламутровым исподом. И сын произносил латынь их названий слегка картаво, с торжеством или пренебрежением.

IV

Ночь была сизая, лунная; тонкие лучи, как совиные перья, рассыпались по небу, но не касались легкой ледяной луны. Деревья — груды серого инея — отбрасывали чужую тень на сугробы, загоравшиеся там и сям металлической искрой. Во флигеле, в жарко натопленной плюшевой гостиной, Иван поставил на стол аршинную елку в глиняном горшке и как раз подвязывал к ее крестообразной макушке свечу, — когда Слепцов, озябший, заплаканный, с пятнами темной пыли, приставшей к щеке, пришел из большого дома, неся деревянный ящик под мышкой. Увидя на столе елку, он спросил рассеянно, думая о своем:

— Зачем это?

Иван, освобождая его от ящика, низким круглым голосом ответил:

— Праздник завтра.

— Не надо, — убери... — поморщился Слепцов, и сам подумал: "Неужто сегодня Сочельник? Как это я забыл?"

Иван мягко настаивал:

— Зеленая. Пускай постоит...

— Пожалуйста, убери, — повторил Слепцов и нагнулся над принесенным ящиком. В нем он собрал вещи сына — сачок, бисквитную коробку с каменным коконом, расправилки, булавки в лаковой

шкатулке, синюю тетрадь. Первый лист тетради был наполовину вырван, на торчавшем клочке осталась часть французской диктовки. Дальше шла запись по дням, названия пойманных бабочек и другие пометы: "Ходил по болоту до Боровичей...", "Сегодня идет дождь, играл в пашки с папой, потом читал скучнейшую "Фрегат Палладу", "Чудный жаркий день. Вечером ездил на велосипеде. В глаз попала мошка. Проезжал, нарочно два раза, мимо ее дачи, но ее ни видел..."

Слепцов поднял голову, проглотил что-то — горячее, огромное. О ком это сын пишет?

"Ездил, как всегда на велосипеде", стояло дальше. "Мы почти переглянулись. Моя прелесть, моя радость..."

— Это невысказано, — прошептал Слепцов, — я ведь ничего не узнаю...

Он опять наклонился, жадно разбирая детский почерк, поднимающийся, заворачивающийся на полях.

"Сегодня — первый экземпляр траурницы. Это значит — осень. Вечером шел дождь. Она, вероятно, уехала, а я с нею так и не познакомился. Прощай, моя радость. Я ужасно тоскую..."

"Он ничего не говорил мне..." — вспоминал Слепцов, потирая ладонью лоб.

А на последней странице был рисунок пером: слон — как видишь его сзади, — две толстые тумбы, углы ушей и хвостик.

Слепцов встал. Затряс головой, удерживая приступ страшных сухих рыданий.

— Я больше не могу... — простонал он, растягивая слова, и повторил еще протяжнее: — не — могу — больше...

"Завтра Рождество, — скороговоркой пронеслось у него в голове. — А я умру. Конечно. Это

так просто. Сегодня же...”

Он вытащил платок, вытер глаза, бороду, щеки. На платке остались темные полосы.

—... Смерть, — тихо сказал Слепцов, как бы кончая длинное предложение.

Тикали часы. На синем стекле окна теснились узоры мороза. Открытая тетрадь сияла на столе, рядом сквозила светом кисея сачка, блестел жестяной угол коробки. Слепцов зажмурился, и на мгновение ему показалось, что до конца понятна, до конца обнажена земная жизнь — горестная до ужаса, унизительно бесцельная, бесплодная, лишенная чудес...

И в то же мгновение шелкнуло что-то — тонкий звук — как будто лопнула натянутая резина. Слепцов открыл глаза и увидел: в бисквитной коробке торчит прорванный кокон, над столом, быстро ползет вверх черное сморщенное существо величиной с мышь. Оно остановилось, вцепившись шестью черными мохнатыми лапками в стену, и стало странно трепетать. Оно вылупилось оттого, что изнемогающий от горя человек перенес жестяную коробку к себе, в теплую комнату, оно вырвалось оттого, что сквозь тугой шелк кокона проникло тепло, оно так долго ожидало этого, так напряженно набиралось сил и вот теперь, вырвавшись, медленно и чудесно росло. Медленно разворачивались смятые лоскутки, бархатные бахромки, крепи, наливаясь воздухом, веерные жилы. Оно стало крылатым незаметно, как незаметно становится прекрасным мужающее лицо. И крылья — еще слабые, еще влажные — всё продолжали расти, расправляться, вот развернулись до предела, положенного им Богом, — и на стене уже была — вместо комочка, вместо черной мыши, — громадная ночная бабочка,

индийский шелкопряд, что летает, как птица, в сумраке, вокруг фонарей Бомбея.

И вот простертые крылья, загнутые на концах, темно-бархатные, с четырьмя слюдяными оконцами, вздохнули в порыве нежного, восхитительного, почти человеческого счастья.

ПАССАЖИР

— Да, жизнь талантливее нас, вздохнул писатель, постукивая картонным концом папиросы о крышку портсигара. — Иногда она придумывает такие темы... Куда нам до нее! Ее произведения непередаваемы, непередаваемы...

— Все права закреплены за автором, — улыбнувшись, подсказал критик, скромный, близорукий человек с тонкими, подвижными пальцами.

— Нам остается только жулить, — продолжал писатель, рассеянно бросив спичку в пустую рюмку критика. — Нам остается делать с ее творениями то, что делает фильм режиссер с известным романом. Режиссеру нужно, чтобы горничным в субботний вечер было нескучно, и потому он этот роман меняет до неузнаваемости, крошит его, выворачивает, выбрасывает тысячу эпизодов, видит придуманные им самим происшествия, новых персонажей, — и всё для того, чтобы получился занимательный фильм, развивающийся без всяких помех, карающий в начале добродетель, а в конце — порок, совершенно естественный в своей условности и, главное, снабженный неожиданной, но всё разрешающей развязкой. Вот точно так же и темы жизни мы меняем по-своему, стремясь к какой-то условной гармонии, к художественной сжатости. Приправляем

наш пресный плагиат собственными выдумками. Нам кажется, что жизнь творит слишком размашисто и неровно, что ее гений слишком неряшлив, мы в угоду нашим читателям выкраиваем из ее свободных романов наши аккуратные рассказы, — *ad usum delphini*. Позвольте же по этому поводу вам сообщить следующий случай.

Ехал я в экспрессе, в спальном вагоне. Я очень люблю дорожное новоселье, — холодноватое белье на койке, фонари станции, которые тронувшись медленно проходят за черным стеклом окна. Было мне грядтно, помнится, что надо мной, на верхней койке, никого нет. Раздевшись, я лег навзничь, подложил под затылок руки, — и легкость узкого казенного одеяла была прямо-таки сладостна после пухлости отдельных перин. Помечтав кое о чем, — мне о ту пору хотелось писать повесть из жизни вагонных уборщиц, — я выключил свет и очень скоро уснул. И тут разрешите мне употребить прием, частенько встречающийся в таких именно рассказах, каким обещает быть мой. Вот он, — этот самый, хорошо вам известный прием. "Среди ночи я внезапно проснулся". Впрочем, дальше следует кое-что посвежее. Я проснулся и увидел ногу.

— Виноват? — переспросил скромный критик, подавшись вперед и подняв указательный палец.

— Я увидел ногу, — повторил писатель. — Отделение было освещено, и поезд стоял на какой-то станции. Нога была мужская, крупная, в грубом пестром носке, продырявленном синеватым ногтем большого пальца. Она плотно стояла на лесенке у самого моего лица, и ее обладатель, скрытый от меня навесом верхней койки, как раз собирался сделать последнее усилие, чтобы взобраться на

свою галерку. Я успел хорошенько рассмотреть эту ногу, серый в черную клетку носок, фиолетовую ижицу подвязки сбоку на толстой икре. Сквозь трико длинного подштанника неприятно торчали волоски. Вообще нога была препротивная. Пока я на нее смотрел, она напряглась, пошевелила раза два цепким большим пальцем, наконец сильно оттокнулась и взвилась вверх. Там, наверху, послышалось кряхтение, посапывание, — все звуки, по которым я мог судить о том, что человек укладывается спать. Затем свет погас, и через несколько мгновений поезд тронулся.

Я не знаю, как вам объяснить, — эта нога произвела на меня впечатление гнетущее. Пестрая, мягкая гадина. И меня тревожило то, что из всего человека я знал только эту недобрую ногу, а фигуры, лица так и не увидел. Его койка, которая образовывала надо мной низкий, темный потолок, теперь казалась ниже, я словно ощутил ее тяжесть. Как я ни старался представить себе облик моего ночного спутника, всё у меня торчал перед глазами крупный ноготь, блестящий синеватым перламутром сквозь дырку шерстяного носка. Вообще странно, конечно, что такие пустяки могли меня волновать, — но ведь, с другой стороны, не есть ли всякий писатель именно человек, волнующийся по пустякам? Как бы то ни было, сон ко мне не шел. Я прислушивался, — не храпит ли мой неведомый пассажир? Мне показалось, что он не храпит, а стонет, — но, как известно, ночной колесный стук поощряет галлюцинации слуха. Однако я не мог отделаться от впечатления, что там, надо мной, раздаются какие-то необыкновенные звуки. Я слегка приподнялся. Звуки стали яснее. Человек на верхней полке рыдал.

— Как вы сказали? — прервал критик. — Рыдал? Так, так. Простите, я не расслышал. — И, снова уронив руки на колени и склонив набок голову, он продолжал слушать рассказчика.

— Да, он рыдал, — и его рыдания были ужасны. Рыдания душили его, он шумно выпускал воздух, как будто выпив залпом литр воды, и за этим следовало быстрое всхлипывание с закрытым ртом, какая-то страшная пародия на кудахтанье, — и опять вдохание, и опять мелкие рыдающие выдохи, но уже с открытым ртом, — судя по хахакающему звуку. И всё это на шатком фоне колесной стукотни, ставшей тем самым как бы движущейся лестницей, по которой всходили и спускались его рыдания. Я лежал не шевелясь и слушал, — и при этом чувствовал, что у меня в темноте преглупое лицо: всегда становится неловко, когда рыдает чужой человек. А тут еще я был невольной связан с ним тем, что мы лежим на двух полках, в одном и том же отделении, в одном и том же безучастно мчащемся поезде. И он не унимался, — это ужасное трудное всхлипывание не отставало от меня: мы оба, я — внизу — слушающий, — он — наверху — рыдающий, — летели боком в ночную даль со скоростью восьмидесяти километров в час, и только железнодорожная катастрофа могла бы рассеять нашу невольную связь. Потом он как будто перестал, — но только я собрался уснуть, снова заклокотали его рыдания, и мне казалось даже, что вперемежку со всхлипывающими вздохами он произносит какие-то слова, нутряным голосом, животом. Он снова замолк, только посапывал; я лежал с закрытыми глазами и видел в воображении его отвратительную ногу в клетчатом носке. Я все-таки уснул, а в половине шестого утра проводник рванул дверь, разбудил меня и, сидя на койке, поминутно стучаясь головой о край верхней койки, я

стал поспешно одеваться. Перед тем, как выйти с чемоданом в коридор, я оглянулся на верхнюю койку, но он лежал ко мне спиной, накрывшись с головой одеялом. В коридоре было светло, солнце только что встало, синяя, свежая тень поезда бежала по траве, по кустам, изгибаясь, взлетала на скаты, рябила по стволам мелькающих берез, — и ослепительно просиял удлинённый прудок посредине поля, медленно сузился, превратился в серебряную щель, и с быстрым грохотом проскочил домик, шлагбаум, хлестнула хвостом дорога, — и опять замелькали пятнистым частоколом, от которого кружилась голова, бесчисленные, солнцем испещренные березы. Кроме меня, в коридоре стояли две заспанные, наскоро покрашенные дамы и старичок в замшевых перчатках и дорожном картузе. Я ненавижу вставать рано, — упоительнейший рассвет в мире не может мне заменить часы сладкого утреннего сна, — и поэтому я только хмуро кивнул, когда старичок обратился ко мне: "Вы тоже вылезаете в...?" И он назвал большой город, куда мы должны были приехать через десять-пятнадцать минут.

Березы вдруг рассеялись, полдюжины домишек посыпали с холма, едва второпях не попав под поезд, затем прошагала, блистая стеклами, огромная багровая фабрика, чей-то шоколад окликнул нас с пятисаженного объявления, опять фабричный корпус, стекла, трубы, одним словом, происходило всё то, что происходит, когда подъезжаешь к большому городу. Но вот, к нашему удивлению, поезд судорожно затормозил и остановился на пустынном полустанке, где, казалось бы, экспрессу нечего делать. Меня удивило и то, что на платформе стоят несколько полицейских. Я опустил оконную раму и высунулся. — "Закройте окно", — вежливо сказал один из них. Люди в коридоре заволновались. Прошел кондуктор;

я спросил, в чем дело. "В поезде находится преступник", — ответил он и кратко объяснил на ходу, что в городе, который мы проезжали ночью, случилось накануне убийство, — муж застрелил жену и ее любовника. Дамы ахнули, старичок покачал головой. В коридор вошли двое полицейских и краснощекий кругленький сыщик в котелке, похожий на букмекера¹. Меня попросили вернуться в купе. Полицейские остались стоять в коридоре, а сыщик принялся обходить отделения. Я показал ему паспорт. Он скользнул рыжими глазами по моему лицу и отдал мне бумаги. Мы стояли в тесном купе, на верхней койке неподвижно лежала темная, завернутая с головой фигура. "Вы можете выйти", — сказал мне сыщик и протянул руку наверх на койку. "Ваши бумаги, пожалуйста". Фигура в одеяле храпела. Стоя у открытой двери, я слушал этот храп, и мне казалось, что в нем еще просвистывают отзвуки ночных рыданий. "Пожалуйста, проснитесь", — громче сказал сыщик и каким-то профессиональным жестом дернул за край серого одеяла, у шеи спящего. Тот шевельнулся, но продолжал храпеть. Сыщик потряс его за плечо. Мне стало не по себе, я отвернулся и принялся глядеть в коридорное окно, но ничего не видел, а всем существом слушал, что происходит в купе.

И представьте себе, я не услышал ровно ничего особенного. Сонно заворчал человек на верхней койке, сыщик отчетливо потребовал документы, отчетливо поблагодарил, вышел из купе, вошел в следующее. Вот и всё. А ведь казалось, как вышло бы великолепно, — с точки зрения писателя, конечно, — если бы рыдающий пассажир с недобрыми ногами

¹ Букмекер (англ.) — лицо, принимающее денежные ставки при игре в тотализатор.

оказался убийцей, как великолепно можно было бы объяснить его ночные слезы, — и, главное, как великолепно всё бы это уложилось в рамки моего ночного путешествия, в рамки короткого рассказа. Но, по-видимому, замысел автора, замысел жизни, был и в этом случае, как всегда, стократ великолепнее.

Писатель вздохнул и замолк, посасывая давно потухшую, вконец разжеванную и замусоленную папиросу. Критик глядел на него добрыми глазами.

— Признайтесь, — опять заговорил писатель, — вы были уверены, начиная с той минуты, когда я упомянул о полицейских на полустанке, что мой рыдающий пассажир — преступник?

— Я знаю вашу манеру, — сказал критик, кончиками пальцев коснувшись плеча собеседника и, свойственным ему жестом, сразу отдернув руку... — Если бы вы писали детективный рассказ, вы бы сделали искомым злодеем не того, кого никто из героев не подозревает, а того, кого с самого начала подозревают все, и тем самым провели бы опытного читателя, привыкшего к тому, что ларчик открывается непросто. Я знаю, что впечатление неожиданности вы любите давать путем самой естественной развязки. Но не слишком увлекайтесь этим. В жизни много случайного, но и много необычайного. Слову дано высокое право из случайности создавать необычайность, необычайное делать не случайным. Из данного случая, из данных случайностей вы могли бы сделать вполне законченный рассказ, если бы вы превратили вашего пассажира в убийцу.

Писатель опять вздохнул.

— Да-да, я об этом думал. Я прибавил бы несколько деталей. Я намекнул бы на то, что убийца страстно любил жену. Мало ли что можно придумать. Но горе

в том, что неизвестно, может быть, жизнь имела в виду нечто совсем другое, нечто куда более тонкое, глубокое. Горе в том, что я не узнал, почему рыдал пассажир, и никогда этого не узнаю...

— Я заступаюсь за слово, — мягко сказал критик.
— Вы, писатель, по крайней мере создали бы яркое разрешение. Ваш герой, может статься, плакал потому, что потерял бумажник на вокзале. У меня был знакомый, — взрослый мужчина необычайно воинственной наружности, — который плакал в голос, когда у него болели зубы. Нет-нет, спасибо. Больше мне не наливайте. Достаточно, вполне достаточно.





ВАРЛАМ ТИХОНОВИЧ ШАЛАМОВ (1907—1982)

В.Т. Шаламов начал печататься в 1932 г., в 1937-м был незаконно репрессирован, лишь после XX съезда КПСС полностью реабилитирован. Выступивший в конце 50-х годов как поэт, Шаламов завоевал известность как автор "Колымских рассказов", написанных между 1954 и 1973 годами, значительная часть которых вышла за рубежом, на родине они публикуются лишь в последние годы.

Шаламов вслед за Солженицыным открывал в нашей литературе мир неволи, ставший трагической частью и его собственной биографии, и истории страны. Аресты, тюрьмы, лагеря — главный пласт его эпических впечатлений. Герои Шаламова — лагерный люд — иногда создают впечатление, что повествование из рассказа в рассказ идет об одном и том же персонаже: в драном ватнике и обмотках, занятого непосильным трудом, постоянно голодного, в холоде и боли, в ставших такими привычными унижениях, ведущим свое невольничье существование. Писатель дотошно вырисовывает, отбирает подробности лагерного быта, сохраняя при этом сдержанность и суровость красок, следуя некоему художественному аскетизму, словно боясь рассказывать о лагерной жизни более "художественно", более "красочно".

Небольшие по объему рассказы Варлама Шаламова складываются в своеобразный эпос о Колыме и ее горестных обитателях.

В предисловии к "Колымским рассказам" Шаламов писал: "... вместо мемуара "КР" ("Колымские рассказы". — Сост.) предлагают новую прозу, прозу живой жизни, которая в то же время — преображенная действительность, преображенный документ.

Так называемая лагерная тема — это очень большая тема, где разместится сто таких писателей, как Солженицын, пять таких писателей, как Лев Толстой. И никому не будет тесно.

Автор "КР" стремится доказать, что самое главное для писателя — это сохранить живую душу".

УТКА

(Из "Колымских рассказов")

Горный ручей был уже схвачен льдом, а на перекатах ручья уже вовсе не было. Ручей вымерзал с перекатов, и через месяц от летней, грозной, гремящей воды не оставалось ничего, даже лед был вытоптан, измельчен, раздавлен копытами, шинами, валенками. Но ручей был еще жив, вода в нем еще дышала — белый пар поднимался над полыньями, над проталинами.

Обессиленная утка-нырок шлепнулась в воду. Стая давно пролетела на юг, утка осталась. Было еще светло, снежно — особенно светло из-за снега, покрывшего весь голый лес, всё до горизонта. Утка хотела отдохнуть, немного отдохнуть, потом подняться и лететь — туда, вслед стае.

У нее не было сил лететь. Стопудовая тяжесть крыльев гнула ее к земле, но на воде она нашла опору, спасение — вода на полыньях показалась ей живой рекой.

Но не успела утка оглядеться, передохнуть, как тонкий ее слух уловил звук опасности. Да не звук — грохот.

Сверху, со снежной горы, обрываясь на мерзлых, еще застывающих к вечеру кочках, бегом спускался человек. Он увидел утку давно и следил за ней с тайной надеждой, и вот надежда сбылась — утка опустилась на лед.

Человек подкрадывался к ней, но оступился, утка заметила его, и тогда человек побежал не таясь, а утка не могла лететь — устала. Ей нужно было только подняться вверх, и, кроме злобных угроз, ничего бы ей не угрожало. Но чтоб подняться в небо, нужны силы в крыльях, а утка слишком устала. Она сумела только нырнуть, исчезла в воде, и человек, вооруженный тяжелым каким-то суком, остановился у полыньи, куда нырнула утка, ждал ее возвращения. Ведь надо же будет утке дышать.

В двадцати метрах тоже была такая же полынья, и человек, ругаясь, увидел, что утка проплыла подо льдом и вылезла в другую полынью. Но летать она и там не могла. И секунды тратила она на отдых.

Человек попробовал обломать, раздавить лед, но обувь его из тряпок не годилась.

Он бил палкой по синему льду — лед чуть крошился, но не ломался. Человек обессилел и, тяжело дыша, сел на лед.

Утка плавала в полынье. Человек побежал, ругаясь и бросая камни в утку, и утка нырнула и появилась в первой полынье.

Так они бегали — человек и утка, пока не стемнело.

Была пора возвращаться в барак с неудачной охоты, случайной охоты. Человек пожалел, что потратил силы на это безумное преследование. Голод не давал подумать как следует, составить надежный

план, чтобы обмануть утку, нетерпение голода подсказало неверный путь, плохой план. Утка осталась на льду в полынье. Пора было возвращаться в барак. Человек ловил утку не затем, чтобы сварить птичье мясо и съесть. Утка ведь птица, мясо, не правда ли? Сварить в жестяном котелке или еще лучше — закопать в золу у костра. Обмазать глиной утку и зарыть ее в горящую лиловую золу или просто бросить в костер. Костер прогорит, и глиняная оболочка утки лопнет. Внутри будет горячий скользкий жир. Жир потечет на руки, будет стынуть на губах. Нет, вовсе не для этого ловил человек утку. Смутно, туманно в его мозгу вставали, строились другие зыбкие планы. Отнести эту утку в подарок десятнику, и тогда десятник вычеркнет человека из зловещего списка, который составлялся ночью. Об этом списке знал весь барак, и человек старался не думать о невозможном, о недоступном, как бы избавиться от этапа, как бы остаться здесь, на этой командировке. Здешний голод можно было еще терпеть, а человек никогда не искал лучшего от хорошего.

Но утка осталась в полынье. Человеку очень трудно было самому принимать решение, совершить поступок, действие, какому не научила его повседневная жизнь. Его не учили погоне за уткой. Оттого и движения его были неумелы, беспомощны. Его не учили думать о возможности такой охоты — мозг не умел правильно решать неожиданные вопросы, которые задавала жизнь. Его учили жить, когда собственного решения не надо, когда чужая воля, чья-то воля управляет событиями. Необычайно трудно вмешаться в собственную судьбу, "преломить" судьбу. Может быть, всё к лучшему — утка умирает в полынье, человек в бараке.

Замерзшие, подарапаные о лед пальцы с трудом согрелись за пазухой — человек каждую ладонь, обе ладони засунул за пазуху одновременно, вздрагивая от ноющей боли отмороженных навек пальцев. В голодном его теле было мало тепла, и человек вернулся в барак, протискался к печке и всё же не мог согреться. Тело дрожало крупной дрожью неостановимо.

В дверь барака заглянул десятник. Он тоже видел утку, видел охоту мертвеца за умирающей уткой. Десятнику не хотелось уезжать из этого поселка — кто знает, что его ждет на новом месте. Десятник рассчитывал щедрым подарком — живая утка да "вольные" брюки — умиловить сердце прораба, который еще спал. Проснувшись, прораб мог вычеркнуть десятника из списка — не того работягу, который поймал утку, а его, десятника.

Прораб, лежа, привычными пальцами разминал папиросу "Ракета". В окно он тоже видел начало охоты. Если утку поймают — плотник сделает клетку, и прораб отвезет утку большому начальнику, вернее, его жене, Агнии Петровне. И будущее прораба обеспечено.

Но утка осталась умирать в полынье. И всё пошло так, как будто утка и не залетала в эти края.

АПОСТОЛ ПАВЕЛ

Когда я вывихнул ступню, сорвавшись в шурфе со скользкой лестницы из жердей, начальству стало ясно, что я прохромаю долго, и, так как без дела сидеть было нельзя, меня перевели помощником к нашему столяру Адаму Фризоргеру, чему мы оба — и Фризоргер, и я — были очень рады.

В своей "первой жизни" Фризоргер был пастором в каком-то немецком селе близ Маркштадта на Волге. Мы встретились с ним на одной из больших пересылок во время тифозного карантина и вместе приехали сюда, в угольную разведку. Фризоргер, как и я, уже побывал в тайге, побывал в "доходягах" и полусумасшедшим попал с прииска на пересылку. Нас отправляли в угольную разведку как инвалидов, как "обслужу" — рабочие кадры разведки были комплектованы только вольнонаемными. Правда, это были вчерашние заключенные, только что отбывшие свой "термин", или срок, и называвшиеся в лагере полупрезрительным словом "вольняшки". Во время нашего переезда у сорока человек этих вольнонаемных едва нашлось два рубля, когда понадобилось купить махорку, но всё же это был уже не наш брат. Все понимали, что пройдет два-три месяца, и они приоденутся, смогут выпить, паспорт получают, может быть, даже через год уедут домой. Тем ярче были эти надежды, что Парамонов, начальник разведки, обещал им огромные заработки и полярные пайки. "В цилиндрах домой поедете", — постоянно твердил им начальник. С нами же, арестантами, разговоров о цилиндрах и полярных пайках не заводилось.

Впрочем, он и не грубил нам. Заключенных ему в разведку не давали, и пять человек в службу — это было всё, что Парамонову удалось выпросить у начальства.

Когда нас, еще не знавших друг друга, вызвали из бараков по списку и доставили перед его светлые и проницательные очи, он остался весьма доволен опросом. Один из нас был печник, сероусый остряк ярославец Изгибин, не потерявший природной бойкости и в лагере. Мастерство ему

давало кое-какую помощь, и он не был так истощен, как остальные. Вторым был одноглазый гигант из Каменец-Подольска — "паровозный кочегар", как он отрекомендовался Парамонову.

— Слесарить, значит, можешь маленько, — сказал Парамонов.

— Могу, могу, — охотно подтвердил "кочегар". Он быстро сообразил свою выгодность работы в вольнонаемной разведке.

Третьим был агроном Рязанов. Такая профессия привела в восторг Парамонова. На рваное тряпье, в которое был одет агроном, не было обращено, конечно, никакого внимания. В лагере не встречают людей по одежде, а Парамонов достаточно знал лагерь.

Четвертым был я. Я не был ни печником, ни слесарем, ни агрономом. Но мой высокий рост, по видимому, успокоил Парамонова, да и не стоило возиться с исправлением списка из-за одного человека. Он кивнул головой.

Но наш пятый повел себя очень странно. Он бормотал слова молитвы и закрывал лицо руками, не слыша голоса Парамонова. Но и это начальнику не было внове. Парамонов повернулся к нарядчику, стоявшему тут же и державшему в руках желтую стопку скоросшивателей — так называемых "личных дел".

— Это столяр, — сказал нарядчик, угадывая вопрос Парамонова.

Прием был закончен, и нас увезли в разведку.

Фризоргер после рассказывал мне, что, когда его вызвали, он думал, что его вызывают на расстрел, так его напугал следователь еще на прииске. Мы жили с ним целый год в одном бараке, и не было случая, чтобы мы поругались друг с

другом. Это — редкость среди арестантов и в лагере, и в тюрьме. Ссоры возникают по пустякам, мгновенно ругань достигает такого градуса, что кажется — следующей ступенью может быть только нож или в лучшем случае какая-нибудь кочерга. Но я быстро научился не придавать большого значения этой пышной ругани. Жар быстро спадал, и если оба продолжали еще долго лениво отругиваться, то это держалось больше для "порядка", для сохранения "лица".

Но с Фризоргером я не ссорился ни разу. Я думаю, что в этом была заслуга Фризоргера, ибо не было человека мирнее его. Он никого не оскорблял, говорил мало. Голос у него был старческий, дребезжащий, но какой-то искусственно, подчеркнуто дребезжащий. Таким голосом говорят в театре молодые актеры, играющие стариков. В лагере многие стараются (и небезуспешно) показать себя старше и физически слабее, чем на самом деле. Всё это делается не всегда с сознательным расчетом, а как-то инстинктивно. Ирония жизни здесь в том, что большая половина людей, прибавляющих себе лета и убавляющих силы, дошли до состояния, еще более тяжелого, чем они хотят показать.

Но ничего притворного не было в голосе Фризоргера.

Каждое утро и вечер он неслышно молился, отвернувшись от всех в сторону и глядя в пол, а если и принимал участие в общих разговорах, то только на религиозные темы, то есть очень редко, ибо арестанты не любят религиозных тем. Старый похабник, милейший Изгибин, пробовал было подсмеиваться над Фризоргером, но остроты его были встречены такой милой улыбочкой, что изгибинский заряд шел вхолостую. Фризоргера

любила вся разведка и даже сам Парамонов, которому Фризоргер сделал замечательный письменный стол, проработав над ним, кажется, полгода.

Наши койки стояли рядом, мы часто разговаривали, и иногда Фризоргер удивлялся, по-детски взмахивая небольшими ручками, встретив у меня знание каких-либо популярных евангельских историй — материал, который он по простоте душевной считал достоянием только узкого круга религиозников. Он хихикал и очень был доволен, когда я обнаруживал подобные познания. И, воодушевившись, принимался рассказывать мне то евангельское, что я помнил твердо или чего я не знал вовсе. Очень ему нравились эти беседы.

Но однажды, перечисляя имена двенадцати апостолов, Фризоргер ошибся. Он назвал имя апостола Павла. Я, который со всей самоуверенностью невежды считал всегда апостола Павла действительным создателем христианской религии, ее основным теоретическим вождем, знал немного биографию апостола и не упустил случая поправить Фризоргера.

— Нет, нет, — сказал Фризоргер, смеясь. — Вы не знаете. Вот, — и он стал загибать пальцы, — Питер, Пауль, Маркус...

Я рассказал ему всё, что знал об апостоле Павле. Он слушал меня внимательно и молчал. Было уже поздно, пора было спать. Ночью я проснулся и в мерцающем, дымном свете коптилки увидел, что глаза Фризоргера открыты, и услышал шепот: "Господи, помоги мне! Питер, Пауль, Маркус..." Он не спал до утра. Утром он ушел на работу рано, а вечером пришел поздно, когда я уже заснул. Меня разбудил тихий старческий плач. Фризоргер стоял на коленях и молился.

— Что с вами? — спросил я, дождавшись конца молитвы.

Фризоргер нашел мою руку и пожал ее.

— Вы правы, — сказал он. — Пауль не был в числе двенадцати апостолов. Я забыл про Варфоломея.

Я молчал.

— Вы удивляетесь моим слезам? — сказал он. — Это слезы стыда. Я не мог, не должен был забывать такие вещи. Это грех, большой грех. Мне, Адаму Фризоргеру, указывает на мою непростительную ошибку чужой человек. Нет, нет, вы ни в чем не виноваты — это я сам, это мой грех. Но это хорошо, что вы поправили меня. Всё будет хорошо.

Я едва успокоил его, и с той поры (это было незадолго до вывиха ступни) мы стали еще большими друзьями.

Однажды, когда в столярной мастерской никого не было, Фризоргер достал из кармана засаленный матерчатый бумажник и поманил меня к окну.

— Вот, — сказал он, протягивая мне крошечную обломанную фотографию — "моменталку".

Это была фотография молодой женщины с каким-то случайным, как во всех снимках "моменталок", выражением лица. Пожелтевшая, потрескавшаяся фотография была бережно обклеена цветной бумажкой.

— Это моя дочь, — сказал Фризоргер торжественно. — Единственная дочь. Жена моя давно умерла. Дочь не пишет мне, правда, адреса не знает, наверно. Я писал ей много и теперь пишу. Только ей. Я никому не показываю этой фотографии. Это из дому везу. Шесть лет назад я ее взял с комода.

В дверь мастерской бесшумно вошел Парамонов.

— Дочь, что ли? — сказал он, быстро оглядев фотографию.

— Дочь, гражданин начальник, — сказал Фризоргер, улыбаясь.

— Пишет?

— Нет.

— Чего ж она старика забыла? Напиши мне заявление о розыске, я отошлю. Как твоя нога?

— Хромаю, гражданин начальник.

— Ну, хромай, хромай. — Парамонов вышел.

С этого времени, уже не таясь от меня, Фризоргер, окончив вечернюю молитву и улегшись на койку, доставал фотографию дочери и поглаживал цветной ободочек.

Так мы мирно жили около полугода, когда однажды привезли почту. Парамонов был в отъезде, и почту принимал его секретарь, из заключенных, Рязанов, который оказался вовсе не агрономом, а каким-то эсперантистом, что, впрочем, не мешало ему ловко снимать шкуры с павших лошадей, гнуть толстые железные трубы, наполняя их песком и раскаляя на костре, и вести всю канцелярию начальника.

— Смотри-ка, — сказал он мне, — какое заявление на имя Фризоргера прислали.

В пакете было "казенное" отношение с просьбой познакомить заключенного Фризоргера (статья, срок) с заявлением его дочери, копия которого прилагалась. В заявлении она коротко и ясно писала, что убедившись в том, что отец является врагом народа, она отказывается от него и просит считать родство не бывшим.

Рязанов повертел в руках бумажку.

— Этакая пакость, — сказал он. — Для чего ей это нужно? В партию, что ли, вступает?

Я подумал о другом: для чего пересылать отцу-арестанту такие заявления? Есть ли это вид своеобразного садизма вроде практиковавшихся извещений родственникам о мнимой смерти заключенного или просто желание выполнить всё "по закону". Или еще что?

— Слушай, Ванюша, — сказал я Рязанову, — ты регистрировал почту?

— Где же, только сейчас пришла.

— Отдай-ка мне этот пакет.

И я рассказал Рязанову, в чем дело.

— А письмо? — сказал он неуверенно. — Она ведь напишет, наверное, и ему.

— Письмо ты тоже удержишь.

— Ну, бери.

Я скомкал пакет и бросил его в открытую дверцу топящейся печки.

Через месяц пришло письмо, такое же короткое, как и заявление, и мы его сожгли в той же самой печке.

Вскоре меня куда-то увезли, а Фризоргер остался, и как он жил дальше — я не знаю. Я часто вспоминал его, пока были силы вспоминать. Слышал его дрожащий, взволнованный шепот: "Питер, Пауль, Маркус..."

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО

От голода наша зависть была тупа и бессильна, как каждое из наших чувств. У нас не было силы на чувства, на то, чтобы искать работу полегче, чтобы ходить, спрашивать, просить... Мы завидовали только знакомым, тем, вместе с которыми мы явились в этот мир; тем, кому удалось попасть на работу в контору, в больницу, в конюшню, — там

не было многочасового тяжелого физического труда, прославленного на фронтонах всех ворот как дело доблести и геройства. Словом, мы завидовали только Шестакову.

Только что-либо внешнее могло вывести нас из безразличия, отвести от медленно приближающейся смерти. Внешняя, а не внутренняя сила. Внутри всё было выжжено, опустошено, нам было всё равно, и дальше завтрашнего дня мы не строили планов.

Вот и сейчас — хотелось уйти в барак, лечь на нары, а я всё стоял у дверей продуктового магазина. В этом магазине могли покупать только осужденные по "бытовым" статьям, а также причисленные к "друзьям народа" воры-рецидивисты. Нам там было нечего делать, но нельзя было отвести глаз от хлебных буханок шоколадного цвета, сладкий и тяжелый запах свежего хлеба щекотал ноздри, даже голова кружилась от этого запаха. И я стоял и не знал, когда я найду в себе силы уйти в барак, и смотрел на хлеб. И тут меня окликнул Шестаков.

Шестакова я знал по Большой земле, по Бутырской тюрьме: сидел с ним в одной камере. Дружбы у нас там не было, было просто знакомство. На прииске Шестаков не работал в забое. Он был инженер-геолог, и его взяли на работу в геологоразведку, в контору, стало быть. Счастливцев едва здоровался со своими московскими знакомыми. Мы не обижались: мало ли что ему могли на сей счет приказать? Своя рубашка и т.д.

— Кури, — сказал Шестаков и протянул мне обрывок газеты, насыпал махорки, зажег спичку, настоящую спичку...

Я закурил.

— Мне надо с тобой поговорить, — сказал Шестаков.

— Со мной?

— Да.

Мы отошли за бараки и сели на борт старого забоя. Ноги мои сразу отяжелели, а Шестаков весело болтал своими новенькими казенными ботинками, от которых слегка пахло рыбьим жиром. Брюки завернулись и открыли шахматные носки. Я обозревал шестаковские ноги с истинным восхищением и даже некоторой гордостью — хоть один человек из нашей камеры не носит портянок. Земля под нами тряслась от глухих взрывов — это готовили грунт для ночной смены. Маленькие камешки падали у наших ног, шелестя, серые и незаметные, как птицы.

— Отойдем подальше, — сказал Шестаков.

— Не убьет, не бойся. Носки будут целы.

— Я не о носках, — сказал Шестаков и провел указательным пальцем по горизонту. — Как ты смотришь на всё это?

— Умрем, наверно, — сказал я. Меньше всего мне хотелось думать об этом.

— Ну нет, умирать я не согласен.

— Ну?

— У меня есть карта, — вяло сказал Шестаков. — Я возьму рабочих, тебя возьму и пойду на Черные Ключи — это пятнадцать километров отсюда. У меня будет пропуск. И мы уйдем к морю. Согласен?

Он выложил всё равнодушной скороговоркой.

— А у моря? Поплывем?

— Все равно. Важно начать. Так жить я не могу. "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях"! — торжественно произнес Шестаков. — Кто это сказал?

В самом деле, знакомая фраза. Но не было сил вспомнить, кто и когда говорил эти слова. Всё книжное было забыто. Книжному не верили. Я засучил брюки, показал красные цинготные язвы.

— Вот в лесу и вылечишь, — сказал Шестаков, — на ягодах, на витаминах. Я выведу, я знаю дорогу. У меня есть карта...

Я закрыл глаза и думал. До моря три пути — и все по пятьсот километров, не меньше. Не только я, но и Шестаков не дойдет. Не берет же он меня, как пищу, с собой? Нет, конечно. Но зачем он лжет? Он знает это не хуже меня; и вдруг я испугался Шестакова — единственного из нас, кто устроился на работу по специальности. Кто его туда устроил и какой ценой? За всё ведь надо платить. Чужой кровью, чужой жизнью...

— Я согласен, — сказал я, открывая глаза. — Только мне надо подкормиться.

— Вот и хорошо, хорошо. Обязательно подкормиться. Я принесу тебе... консервов. У нас ведь можно...

Есть много консервов на свете — мясных, рыбных, фруктовых, овощных... Но прекрасней всех — молочные, сгущенное молоко. Конечно, их не надо пить с кипятком. Их надо есть ложкой, или мазать на хлеб, или глотать понемножку, из банки, медленно есть, глядя, как желтеет светлая жидкая масса, как налипают на банку сахарные звездочки...

— Завтра, — сказал я, задыхаясь от счастья, — молочных...

— Хорошо, хорошо. Молочных. — И Шестаков ушел.

Я вернулся в барак, лег и закрыл глаза. Думать было нелегко. Это был какой-то физический процесс — материальность нашей психики впервые представала мне во всей наглядности, во всей ощутимости. Думать было больно. Он соберет нас в побег и "сдаст" — это совершенно ясно. Он заплатит за свою конторскую работу нашей кровью, моей кровью. Нас или убьют там же, на

Черных Ключах, или приведут живыми и осудят — добавят еще лет пятнадцать. Ведь не может же он не знать, что выйти отсюда нельзя. Но молоко, сгущенное молоко...

Я заснул, и в своем рваном голодном сне я видел эту шестаковскую банку сгущенного молока — чудовищную банку с облачно-синей наклейкой. Огромная, синяя, как ночное небо, банка была пробита в тысяче мест, и молоко просачивалось и текло широкой струей Млечного Пути. И легко доставал я руками до неба и ел густое, сладкое, звездное молоко.

Не помню, что я делал в этот день и как работал. Я ждал, ждал, пока солнце склонится к западу, пока заржут лошади, которые лучше людей угадывают конец рабочего дня.

Хрипло загудел гудок, и я пошел к бараку, где жил Шестаков. Он ждал меня на крыльце. Карманы его телогрейки оттопыривались.

Мы сели за большой вымытый стол в бараке, и Шестаков вытащил из карманов две банки сгущенного молока.

Углом топора я пробил банку. Густая белая струя потекла на крышку, на мою руку.

— Надо было вторую дырку пробить. Для воздуха, — сказал Шестаков.

— Ничего, — сказал я, облизывая сладкие пальцы.

— Дайте ложку, — сказал Шестаков, поворачиваясь к обступившим нас рабочим.

Десять блестящих, отлизанных ложек протянулись над столом. Все стояли и смотрели, как я ем. В этом не было неделикатности или скрытого желания угоститься. Никто из них и не надеялся, что я поделюсь с ним этим молоком. Такое не было видано — интерес их к чужой пище был вполне бескорыстен. И я знал, что нельзя не глядеть на пищу, исчезавшую

во рту другого человека. Я сел поудобнее и ел молоко без хлеба, запивая изредка холодной водой. Я съел обе банки. Зрители отошли в сторону — спектакль был окончен. Шестаков смотрел на меня сочувственно.

— Знаешь, что, — сказал я, тщательно облизывая ложку, — я передумал. Идите без меня.

Шестаков понял и вышел, не сказав мне ни слова.

Это было, конечно, ничтожной мезью, слабой, как все мои чувства. Но что я мог сделать еще? Предупредить других — я не знал их. А предупредить было надо: Шестаков успел уговорить пятерых. Они бежали через неделю, двоих убили недалеко от Черных Ключей, троих судили через месяц. Дело о самом Шестакове было "выделено производством", его вскоре куда-то увезли, через полгода я встретил его на другом прииске. Дополнительного срока за побег он не получил — начальство играло с ним честно, — а ведь могло быть и иначе.

Он работал на геологоразведке, был брит и сыт, и шахматные носки его всё были целы. Со мной он не здоровался, и зря: две банки сгущенного молока не такое уж большое дело в конце концов...





ЮРИЙ ОСИПОВИЧ ДОМБРОВСКИЙ (1909—1978)

Первые произведения Ю. Домбровский опубликовал в начале 30-х годов, но последовавший в 1932 г. арест, а за ним еще несколько, прервали литературную деятельность писателя до начала 50-х годов. Это время ушло на тюрьмы, лагеря, ссылки.

В 1959 г. был опубликован роман "Обезьяна приходит за своим черепом", а в 1964-м — первая часть дилогии роман "Хранитель древностей", вторая часть которой — роман "Факультет ненужных вещей" — при жизни автора печатался только за границей (1978).

Домбровского интересует прежде всего человек, в котором сосредоточены нетленные духовные ценности мира, человек, способный противостоять террору и несвободе. Угроза культуре в условиях подавления свободы — главная тема писателя. Большое внимание уделял Домбровский теме творчества и творца, он писал о Державине и Шекспире, Байроне и Грибоедове, мечтал написать романы в Венеитинове и Катулле.

Для повествовательной манеры Домбровского характерно стремление писать лишь о том, что он хорошо знает, что можно увидеть, потрогать, обосновать просто и естественно. "Он... прозу свою так пишет, — замечает В. Непомнящий, — словно и не создает, а именно рассказывает, как было дело, и тут же поясняет

всё необходимое, чтобы его верно поняли, не играя с читателем ни в какие художественные игры. И добивается ощущения, что это как бы и не художественная проза, а подлинная бытность, чуть ли не документальная...”

Юрия Домбровского особо волновало “понижение уровня мирового добра”, связанное с аморальностью строя, вызывающего воспитание аморального человека. “Конечно, высшая мораль, — писал он, — в обычной жизни неудобна и непривычна, с ней очень трудно мириться в текучей повседневности. Зато она приходит как озарение. А озарению подчиняются”.

РУЧКА, НОЖКА, ОГУРЕЧИК...

(Рассказ)

В июньский очень душный вечер он валялся на диване и не то спал, не то просто находился в тревожном забытьи, и сквозь бред ему казалось, что с ним опять говорят по телефону. Разговор был грубый, шантажный; ему угрожали: обещали поломать кости или еще того хуже — подстеречь где-нибудь в подъезде да и проломить башку молотком. Такое недавно действительно было, только убийца орудовал не молотком, а тяжелой бутылкой. Он саданул сзади по затылку. Человек, не приходя в сознание, провалялся неделю в больнице и умер. А ему еще не исполнилось и тридцати, и он только-только выпустил первую книгу стихов.

От этих мыслей он проснулся и услышал, что ему верно звонят.

Он подошел к телефону и поглядел в окно. Уже стемнело, стало быть, шел восьмой час. "Опять приеду ночью", — подумал он и снял трубку.

— Да, — сказал он.

Ему ответил молодой, звонкий, с легкой наглечой голосок:

— А кто говорит?

"Это уже другой, — понял он. — Да их там полная коробка собралась, что ли?" — и спросил:

— Ну а кого нужно-то?

— Нет, кто со мной говорит?

— А кого нужно?

— Может, я не туда попал. Кто...

— Туда, туда, как раз туда. Мне сегодня уже четверо ваших звонили. Так что давай.

— Ах, это ты, сука позорная, писатель хренов. Так вот помни: предупреждаем последний раз — если ты, гад, не прекратишь своей гнусной...

— Подожди. Возьму стул. Слушай, вам что, такие шпаргалки, что ли, там раздают? Что вы все шпарите одно и то же? Не вижу у вас свободного творчества, полета мысли. Хотя бы слово от себя, а то всё от дяди.

— От какого еще дяди?

— От дяди Зуя. Нет, серьезно, что, у вас своих голов нету? Только "сука позорная", только "башку проломим", только "гнусная деятельность". Впрочем, один ваш хрен говорит "деятельность". Дейтели! Передай ему привет!

— Ладно, нечего мне зубы заговаривать. Они у меня здоровые.

— Эх, и хорошо по таким лупить!

— Ах ты! — на секунду даже обомлела трубка. — Да я тебя живьем сгрызу.

— А ты далеко от меня?

— Где бы ни был, а достанем. Так что предупреждаем — и последний раз...

— Стой! Кто-то звонит. Не бросай трубку.

Он подошел в двери, поглядел в глазок и увидел, что стоит та, которую ждал уже три дня и которая еще сегодня утром была ему нужна до зарезу. Она должна была сниматься в его фильме, и ее знала и любила вся страна. Ее портреты, молодые, прекрасные, улыбающиеся, висели в фойе почти каждого кинотеатра, ее карточками пестрели газетные киоски. Ее всегда узнавали, когда она появлялась с ним на улице. Он очень, очень ждал ее эти три проклятых дня, но сейчас она была ему просто ни к чему.

”Вот еще принесло на мою голову, — подумал он, — что это всё на меня сразу стало валиться”.

Он открыл дверь. Она не вошла, а влетела и сразу бросилась к нему. Даже не к нему, а на него. У нее было такое лицо и она так тяжело дышала и так запыхалась, что несколько секунд не могла выговорить ни слова.

— Ну что с тобой? — спросил он грубовато. — Ну окстись! Вид-то, вид-то! — И он слегка потряс ее за плечи. — Ну!

Она облизнула сухие губы.

— Ой, как рада вас видеть здоровым. Ваш телефон всё время занят.

— Ну да, спал я и снял трубку. Звонит всякая шухера.

— Вот и брату звонили, требовали вас, грозили подстеречь в подъезде, я только что вернулась со съемок, и он мне это сказал. Я сразу же бросилась сюда. Видите, даже не переоделась.

На ней верно был рабочий костюм, брюки, блузка, большие солнечные очки.

— Ну тогда садись и передыхай. Я сейчас кончу разговор. Ты слушаешь, мужик? — спросил он трубку. — Молодец. Так вот, ты далеко от меня?

— Да зачем тебе это нужно? — В голосе вдруг прозвучала настоящая растерянность. Сзади как будто слышались еще голоса. — Выследить, гад, хочешь?

— Нет, хочу сделать одно деловое предложение. Ты не раз был возле меня и всё там знаешь. Ну как же? Раз убивать собираетесь значит, всё вы там знаете. Так вот, наискосок от меня пустырь. Там раньше стояла развалюха, а теперь ее снесли. И там алкаши до одиннадцати водку трескают, знаешь?

— Ну, да что ты такое заводишь, козел?

— Так вот предложение. Сейчас там никого нет. Алкаши сидят по домам. Через пятнадцать минут я туда выйду и буду тебя ждать. Приходи. Хоть с молотком, хоть с бутылкой, хоть один, хоть с кодрой — я буду вас ждать. Договорились...

— Да ты что, сука... Да я ж тебя...

— Стой, не ругаться! Остолоп, всё это осточертело! — Он слегка оттолкнул актрису, которая ринулась к нему и сжала его пальцы.

— Ради бога, — сказала она, — ведь это...

Он отмахнулся от нее.

— Так вот, приходи. Поговорим. Но имей в виду, приготовься. Если промахнешься — увезут тебя на "скорой", это я тебе гарантирую. Я умею это делать. Ты же знаешь, где я был, что видел и какой жареный петух меня клевал в задницу.

— Не пугай, сука, мы тебя и на пустыре подстережем. Подожди!

— Ну зачем же меня подстерегать. Я сам иду. Надоели вы мне, болваны, боталы, парчивилки, до смерти.

— Одного такого хорошего, из вашего брата, мазилу уже пристрелили. Из машины...

— Вот видишь, темнело, как там с вами обращаются. Тебе даже не рассказали, кого, за что и как убили. То был не мазила, не врач, а художник. И его застрелил случайно один мусор — инкассатор. Перепугался до смерти и пальнул из машины. А убили в подезде поэта.

— Ну вот...

— И не вы убили, а кто-то посерьезнее вас. А вы только из автоматных будок за две копейки брешете, как суки. Мудачье вы, и всё. Когда хотят убить, так не звонят. Так вот, чтоб через пятнадцать минут ты был там как штык. Понял?

— Дружинников соберешь?

— Не пускай в штаны раньше времени. Один приду. Там издали всё видно. Всё. Вешаю трубку.

Актриса сидела на кушетке и глядела на него. Лицо у нее было даже не цвета мела, а кокаина — это у него такие мертвенные кристаллические блески.

— Это что же такое? — спросила она тихо.

— Как что? Один очень деловой разговор.

— И вы пойдете?

— Обязательно...

Он подошел к столу, открыл ящик, порылся в бумагах и вынул финку. С год назад с ней на лестнице на него прыгнул кто-то черный. Это было на девятом этаже часов в одиннадцать вечера, и лампочки были вывернуты. Он выломал черному руку, и финка вывалилась. На прощанье он еще огрел его два раза по белесой сизо-красной физиономии и мирно сказал: "Уходи, дура". Что-что, а драться его там научили основательно. Финка была самодельная, красивая, с инкрустациями, и он очень ею дорожил. Он сжал ее в кулаке и полюбовался на свою боевую

руку. Она, верно, выглядела здорово. Финка была блестящая и кроваво-коралловая.

— Вот этак, мадам, — сказал он.

Актриса стояла и глядела на него почти безумными глазами.

— Да никуда я вас не пущу. Это же самоубийство. При мне... Да нет, нет!.. — крикнула она.

Он поморщился и кинул финку на стол.

— Ну как в моем дурацком сценарии! Слушай сюда, глупая, — сказал он ласково. — Ни беса лысого они со мной не сделают. Клянусь тебе честью! Честью своей и твоей клянусь. Это же трепачи, шпана, пьянь, простые пакостники. Они у нас на Севере пайки воровали, а мы их за это в сортирах топили. Не до смерти, а так, чтоб нахлебались. И поучить их я поучу сегодня.

— Там их придет десяток. Они вам и развернуться не дадут. Там же такие кусты.

— Ну я тоже не слепой. Увижу. А с этой публикой так: дашь одному по морде, свалишь другого, и разбегутся все. Но смотри, какой ужас на тебя нагнали. Ну как же их не учить после этого, болванов?

Он говорил легко, уверенно, убедительно, и она постепенно успокоилась. Он всегда мог заставить ее поверить во что угодно. Вот и сейчас она взглянула на него, спокойного, неторопливого, собранного — в личной жизни он не был такой, — и почти поверила, что страшного не случится. Просто поговорят по-мужски, и всё. Он тоже понял, что она пришла в себя, засмеялся и похлопал ее по плечу.

— Ну-ну. Будь пайнкой. Сиди и жди... Потом проводишь меня на вокзал. Поеду на дачу. А то три дня здесь торчу, пью со всякой шоблой, а работа-то лежит. Возьми сумочку, попудрись, вытри глаза, они

у тебя сейчас краснее, чем у морского окуня, и ресницы потекли. В зеркало-то посмотришь. Хороша Маша, а?

— А без этого никак нельзя? — спросила она, вынимая сумочку.

— Никак. Ну понимаешь, никак! Они наглеют. А поймут, что я струсил, и действительно шуганут чем-нибудь из-за угла или в подъезде, как того несчастного, подкараулят. А здесь — всё открыто!

— Ой! — И она снова вскочила.

— Сиди! Сейчас вернусь. Можешь из кухни поглядеть, там всё видно.

— Тогда я с вами...

— Одолжила. Так что, мы им спектакль собираемся показывать? Юлиана Семенова в четырех сериях? Сиди, и всё.

И он снова притиснул ее за плечи к дивану.

Однако после разговора по телефону не прошло и пяти минут. До пустыря же было только два шага — улицу перебежать. Так что же, торчать на виду?

Он снова сел к столу, подперся и задумался. Зазвонил телефон. Он нехотя снял трубку, оживился и сказал:

— Да, здравствуйте. Ну узнал, конечно. — Еще что-то послушал и ответил: — Буду там целый день. Пожалуйста. Нет, не рано. Я встаю в шесть. Так жду. — Положил трубку и усмехнулся: — Эта встреча на пустыре — что! Вот завтра редактор ко мне с утра нагрянет...

Она сразу поняла, о ком он говорит и посоветовала:

— Вы так его не любите?

Он поморщился.

— Да нет, не то чтобы я не люблю его, но просто...

Она поднялась с дивана, подошла к зеркалу, потом взяла стул и села у стола рядом с ним.

— ... Но просто не любите. — И вдруг пальцем по зеленой бумаге начала старательно выводить что-то продолговатое, закругленное, закрученное, со многими зализками и заходами то туда, то сюда, то вовнутрь, то вне.

— Что это? Змея?

— Почти. Лекало. Линейка для начертания кривых линий. Это он. А вы вот! — И она быстро — раз-раз-раз! — вывела овал, на овале две черточки внизу, две черточки сверху и над ними кругляшок и на кругляшке много-много мелких, торчащих вверх, и в бока, и вниз черточек — голова, патлы, руки и ноги.

Он засмеялся.

— И меня так в детстве учили. Ножка, ручка, огуречик — вот и вышел человечек...

— Да вот, вышел человечек, — улыбнулась она ему прямо в глаза.

— Хм! Значит, вот я какой — ручка, ножка, вихры, — не очень-то, знаешь, лестно.

— Не очень, конечно, но лекало много хуже.

— Хуже? Такое изящное?

— Я его ненавижу. Оно хитрое, вокруг него всё изгибается, всё обнимает, ко всему подползает. У него нет ничего прямого, а всё в изгибах, в перегибах, изломах.

— И много таких ты знаешь?

— Да у нас все такие. Я сама первая такая.

— Славно! А я, значит, вот какой... — Он ткнул в то место, где был незримый рисунок.

— Да, ты вот такой. — Она первый раз сказала ему "ты".

Он подумал и встал.

— Ну, кажется, время. Пойду. Сиди смирно. Я быстренько.

Но запоздал он здорово. Она уже сидела успокоенная, потому что видела — никто к нему не подходил и на пустырь не заглядывал. Он только зря проторчал полчаса на ящике из-под марокканских апельсинов.

— Суки позорные, трепачи, — сказал он крепко. — Ну сунетесь ко мне еще! — И стукнул на стол граненый стакан — спасение алкашей. У него их было полный шкаф — кто-то ему сказал, что они приносят в дом удачу. — Вот веноч тебе из одуванчиков сплел, пока сидел. Смотри, как солнышко. Понюхай-ка. А шмелей, шмелей там, всё гудит. Ты на машине? Руки не дрожат? Покажи. Отлично. До вокзала меня подбросишь?

— Да я сегодня могу и до места.

— Нет, до места как раз сегодня не надо. Праздники же. Сейчас всюду посты понатыканы. На поезде скорее.

— А может, останетесь? Завтра бы уж.

— Нельзя. Жена совсем потеряла. Кошки воют. Они меня любят. Поехали.

До последнего дачного поезда еще оставалось добрых полчаса, и народу было немного. Уже совсем стемнело. Горели фонари. Воздух после тяжелого знойного дня был неподвижный и какой-то застойный. Пыльные тополя млели в лиловом фонарном свете. Подошел человек и сел рядом.

— Не знаете, сколько сейчас времени? — спросил он у соседа.

— Да через пять минут подадут состав, — ответил сосед. — Да что, вы меня не узнаете, дорогой? — И сосед назвал его по имени-отчеству.

— Боже мой! — воскликнул он. — Какими же судьбами? Вы что, живете теперь на этой ветке?

— Да нет, не живу, а так, гощу у одного приятеля. Да вы его знаете. — И он назвал фамилию довольно известного очеркиста. — Я его устроил там на даче и вот иногда в праздники приезжаю к нему заночевать. А утром гуляем, купаемся, водку пьем. Хорошо.

— Еще бы! — ответил он с улыбкой, разглядывая своего соседа.

Это был бывший сотрудник какой-то районной газеты, а сейчас председатель областного общества книголюбов. Как-то года два назад он позвонил ему и пригласил выступить на одном вечере. Просто поговорить или прочитать отрывок. Вечер прошел очень успешно. Много аплодировали, срезали и поднесли букет великолепных гвоздик, провожали целой группой и очень просили приезжать еще. С этих пор и завязалось у него с книголюбом не то что приятельство, а хорошее знакомство. Книголюб внешне очень нравился — эдакий крепыш, с круглым лицом, карими, в крапинках глазами и смешным вздернутым носом. Ни дать ни взять — тракторист или бригадир. Книголюб приглашал его часто то туда, то сюда — то с чтением повестей, то с лекцией о каком-нибудь юбилее, а то и просто поговорить о писателях и писательском труде. Был он очень обходителен, прост и всегда хорошо платил, и это писатель ценил тоже. В деньгах писатель постоянно нуждался. Его мало печатали и никогда не переиздавали. А год назад он закончил свой большой роман, и тот пошел по рукам. Тут и посыпались все его неприятности, начиная с этих звонков и кончая редакционными отказами. Но всё это он предвидел и не очень-то огорчался.

— А где вы сейчас сходите? — спросил он книголюба.

Тот назвал ему станцию — не так близкую, но и не больно отдаленную, примерно за полчаса от того места, где жил сейчас писатель.

— Ну, значит, успеем наговориться. Знаете, уже соскучился по вас.

Подошел поезд. Вагоны были почти пустые. Электричество горело вполнакала.

— Ну как с романом, ничего не предвидится?

— Куда там. У меня настоящий мертвый сезон, дорогой!

— Одиннадцать лет, говорят, писали?

— Даже с хвостиком.

— Да! — снова вздохнул книголюб и даже головой покачал. — А сейчас, говорят, неприятности у вас какие-то пошли? Грозит вам какая-то шпана...

— Вот именно шпана. Да нет, ничего серьезного. Так, обычная бодяга.

— Не бойтесь. В случае чего в обиду не дадим. Вот! — И он показал небольшой, но крепкий кулак.

— Да я и не боюсь, — улыбнулся писатель, — но всё равно спасибо.

— Слушайте! — вдруг взял его за рукав книголюб. — А вы не сойдете со мной? У нас там еще пол-литра воспитательной стоит, а?

— Соблазнительно! — улыбнулся писатель. — Змий! Зеленый райский змий вы!

— Нет, правда? А завтра утречком и поехали бы к себе. Что ж в такую темень переться-то? Жена ваша небось уже седьмой сон видит. А тут я бы вас познакомил с одним вашим страстным читателем. Он там тоже живет. Молодой парень. Пишет исторический роман. Вот обрадовался бы он! Сойдем, а?

— Очень, очень соблазнительно. Говорите, пол-литра? А что за роман у этого парня?

— Да я знаете, не читал. Но знаю, что исторический.

— А из нашей истории или зарубежной?

— Зарубежной.

— А страна какая?

— Дания.

— Ого! Он так хорошо знает датскую историю? Это же редкость. А как его фамилия?

— Фамилия! Черт! Вот тоже забыл. Я ведь его всё больше по имени — Саша, Саша, ну и фамилию тоже знал, конечно. Черт знает что происходит с памятью.

”Действительно, черт знает что происходит в мире, — подумал писатель, — все что-то сходят с ума. Все потеряли память”.

— Так, может, решитесь, сойдем! — снова сказал книголюб. — От станции десять минут ходьбы. Так бы хорошо посидели.

— Так понимаете, жена, боюсь, сбежит. На черта ей такой муж? Пьет, пропадает черт знает где, куда с кем. А то я бы с таким удовольствием...

— Прекрасная она у вас женщина, — сказал книголюб прочувствованно, — только вот ко мне что-то не больно хорошо относится.

— Это откуда вы взяли? — очень удивился писатель и подумал, что жена-то и видела книголюба однажды и он ей, верно, сразу не понравился. Вернее, что-то ее в нем насторожило.

— Так она почему-то подумала, что я того... — И он постукал пальцем по скамейке.

Писатель смолчал, потому что и это была правда. Они обсуждали — откуда он, дескать, такой хороший человек появился и именно в это тревожное время, но поделилась она своими сомнениями

только с одним знакомым. Его имя называли вместе книголюб и та женщина, которую он тогда привел с собою. Оказалось, что у них, таким образом, есть общие знакомые. Вот к этому общему знакомому и позвонила жена, но ничего конкретного так и не узнала. "Нет, та женщина очень хорошая, — сказал общий знакомый. — Только ведет себя не больно осмотрительно. Знакомства у нее нежелательные. Литературу всякую читает и передает. Язычок длинный. Может быть, за ней и еще что-нибудь более серьезное водится, так что, возможно, он за ней и наблюдает. Хотя тоже навряд ли, а то я бы знал".

Вот и весь разговор. Как же его узнал книголюб? Общий знакомый ни в коем случае проговориться не мог, и вдруг перед ним блеснуло! Ведь говорили-то по телефону. Значит...

Поезд стал замедлять ход. Замелькали предстанционные постройки и кирпичные теремки.

— Ну, я приехал! — сказал книголюб и встал. — Так что, сойдем?

— Нет, поеду к жене! — решительно отрезал писатель. — Что-то стало познабливать.

— Ну, тогда, значит, до свиданьяца! — развел руками книголюб.

— Всего хорошего, — кивнул головой писатель и подумал: "Нет, я определенно болен, лезет же в башку всякая блажь. К психиатру надо бежать!"

Он машинально проследил глазами за книголюбом. Тот шел по перрону и вдруг остановился и помахал рукой кому-то, находившемуся вне поля зрения. И вдруг писатель увидел, что это совсем не та станция, которую книголюб ему назвал, до той было еще несколько прогонов. "Черт знает что!" И не успел он подумать, как быстрым шагом, почти вбежал книголюб и грохнулся на прежнее место.

— Спутал! — сказал он. — Вот башка! Я, кстати, вспомнил фамилию того писателя. Вармашев. А книга из времен Гамлета, семнадцатый век.

— То есть это Шекспир написал своего "Гамлета" в семнадцатом веке, а тот жил много раньше, в одиннадцатом веке! Так, по крайней мере, сообщает Саксон Грамматик. Других источников нет, так что, может, и никакого Гамлета вообще не было!

— И всё-то вы знаете, — умилился книголюб и вынул блокнот.

— Так Вармашев? — спросил писатель и нарочно переменял одну букву. Книголюб кивнул головой. — Говорите, у него пол-литра?

— Да, может и больше. Там самогонку гнали на свадьбу.

"Э, сойду, — быстро решил писатель, — только так и можно вылечиться, а то и впрямь сойдешь с ума. Да и чего мне бояться? Роман написан, а через неделю мне шестьдесят восемь! Хватит! А парень славный. Это я болен, черт знает что придумываю. Пугаю себя".

— Хорошо, — сказал он. — Сойдем.

— Ну вот и чудненько, — обрадовался книголюб, даже руки потер.

Писатель машинально сунул руку в карман. Но финки там не было. "Ну и черт с ней, — подумал он, — страхом от страха не лечатся, лечатся бесстрашием..."

...Они сошли через две остановки. Это был маленький лесистый полустанок, вернее, даже не полустанок, а платформа. Совсем стемнело. Стояла прохладная, чуть подсвеченная одиноким желтым фонарем полутьма. Где-то рядом был, наверно, пруд, потому что тянуло тиной и стоячей водой

и всюду заливались лягушки. Большие, теплые, спокойные лужи стояли на асфальте и в колдобинах. Крошечные бурные лягушата прыгали вокруг. Писатель наклонился, ласково провел рукой по рослой траве.

— А здесь дождичек шел, — сказал он, вдыхая полной грудью смолистый воздух.

Книголюб нежно подхватил писателя под руку, и тот бедром почувствовал его карман. То есть то плоское, гладкое и массивное, что было у него в кармане. "Браунинг, небольшой, наверно, бельгийский", — понял писатель и спросил:

— А что у вас там?

— Браунинг, — улыбнулся книголюб. — Смотрите! — Он мгновенно выхватил браунинг и навел его на писателя. — Ну, — сказал он и, приставив револьвер к своему виску, чем-то щелкнул. Выскочило высокое, голубое, прозрачное пламя.

Оба засмеялись.

— У одного алкаша за пятерку взял, — сказал книголюб и спрятал зажигалку. — Немецкая работа. Вороненая сталь. При случае можно кое-кого пугнуть. Ну вроде тех, кто вам звонит.

— А ну их! Скоро дойдем?

Они вошли в лес, и сразу еще сильнее запахло смолой и хвоей. Книголюб по-прежнему держал писателя под руку, слегка прижимая его к боку, и тот чувствовал его крепкие, неподвижные, словно вылитые по форме мускулы.

— Да уже почти дошли. А вы что, сильно устали?

— Устал, — вздохнул писатель. — Я очень устал, товарищ дорогой. Последнее время было такое трудное.

— Одиннадцать лет писали... Ну ничего, сейчас отдохнете от всех ваших трудов, — словно чему-то усмехнулся книголюб.

”Мертвая хватка, — вдруг остро подумалось писателю. — Поршни, а не мускулы. Те, что у локомотивов ходят. От такого не вырвешься. Лес и в лесу избушка на курьих ножках...”

Книголюб зажег карманный фонарик. Что ж он его не вынул раньше? Осветилась дверь. Это была, очевидно, избушка лесника. Стояла она на отшибе, и жить в ней мог только очень отважный или хорошо вооруженный человек. Книголюб дотронулся до двери, и она отскочила, как автоматическая. Они вошли, и дверь сзади по-волчьи щелкнула сталью.

”Всё, — холодея, но даже с каким-то облегчением подумал писатель. — И никто не узнает, где могилка моя. Просто сел в поезд и не сошел с него. Растворился в воздухе. Винить некого. Следов нет. Полная аннигиляция¹.

Отворилась вторая дверь. Два здоровых молодца сидели за столом, покрытым клеенкой, и на полу была тоже клеенка. Белая, скользкая, страшная. Горела лампа в стеклянном зеленом абажуре. ”У отца в кабинете стояла такая”, — подумал он. Один парень был кругленький, с аккуратно подстриженной головой, румяный, как зимнее яблочко, с загаром. Другой походил на лошадь с белой гривой. Парни молча смотрели на него. Книголюб стоял сзади. Никто ничего не сказал. Просто нечего было уже и говорить.

— Значит, у пустыря на ящике? — спросил белогривый. — А мы вот тебя куда пригласили, на дачку, с ветерком. — И улыбнулся, показывая плоские, тоже лошадиные зубы. Он был совершенно неподвижен, но как-то страшно, смертно напряжен, и эта его напряженность словно создавала в комнате,

¹ Аннигиляция (лат.) — превращение в ничто, уничтожение.

обитой белой клеенкой, незримое, но тягостное силовое поле.

”Да, этот, верно, загрызет сразу”, — подумал писатель.

— Сейчас ему будет ящичек с крышечкой, — улыбнулся румяный. — Сыграет он в него. Хватит, повредил, поклеветал, попил нашей кровушки, падло.

Писатель хотел отскочить, но не мог, хотя ноги стояли совершенно прямо, не двигались, словно в силовом поле. В это время что-то железное и неумолимое сдавило ему шею и раздавило горло. Он даже крикнуть не успел, только подавился кровью. Очевидно, книголюб был выдающийся мастер своего дела. Ослепительный, горячий, багровый свет, целая пелена его еще какие-то доли секунды стояла перед ним, но не в глазах уже, а в мозгу, но тело его, за долгие годы привыкшее ко всему, даже к смерти, было еще живо и отвечало злом на зло. Книголюб переломился от страшного удара ногой вниз живота. Тиски распались. ”Ну”, — сказала тело, мгновенно отскочив и прижавшись к стене. Оно было ужасным — в крови, в какой-то липкой гадости, багровое, с глазами, вываливающимися из орбит. Всё это произошло в считанные секунды. Румяный вскочил, схватился за карман, но сразу же сел опять. И тогда лошадиный с криком ”врешь, гад!” бросился к прижавшемуся к стене, всё еще страшному и готовому к смертельной схватке человеку. Он запустил в него плоским пресс-папье, и оно угодило острым углом прямо в висок. Тело рухнуло на колени. Но когда лошадиный подлетел, чтобы ударить еще, оно, тело, схватило его за ногу и подсекло. Они покатались по полу. Лошадиный сразу оказался внизу. И тогда румяный подошел

и четким, хорошо рассчитанным движением ударил находящегося сверху ланцетом. Удар точно пришелся в ямочку на затылке. Руки разжались. Комок распался. Румяный ударил еще в то же место. Лошадиный встал. С него текло. Он весь зашелся в кашле. А румяный наклонился и профессионально — при повороте у него вдруг сверкнул багрянцем медицинский значок — пощупал пульс, потом заглянул в быстро потухающие глаза.

— Всё, — определил он.

— Ну спасибо, молотки, — просипел книголюб, разгибаясь и переводя дыхание, — только отойдите, отойдите! Видите, тут всё заляпано! Эх, черт! Вот что значит не подготовиться. Ведь свободно убить мог, гад! Сейчас машина подойдет. Она рядом с нами ехала. Я ей вышел просигнализировать.

Лошадиный стоял и смотрел. Ему здорово попало. Дышал он с каким-то свистом и всхлипом.

— Ух! — сказал книголюб с ненавистью и врезал носком ботинка по виску трупа. — Ух, гад! — Он ударил еще и еще, но голова только мягко перекатилась по клеенке.

Лошадиный стоял, рот у него был полураскрыт, зубы блестели.

— Здоровый! — сказал он. — Вот уж никогда не думал, что он с вами поедет. "Приходи, мужик". — Не поймешь, что особенное прозвучало в его голосе и в этих словах. Но оно точно прозвучало. Поэтому книголюб поглядел на него.

— А ты сядь, сядь, а то весь дрожишь, — сказал он. — Куда он тебя ткнул-то? Эх, стрелять тут нельзя.

— Со мной по телефону говорил, ругался, мужиком назвал. Эта к нему прибежала, уговаривала, плакала, я все слышал, — нет, пошел.

Букет ей еще нарвал, одуванчиков. Разве такого уговоришь?

— Да что ты, жалеешь его, что ли? — рассердился книголюб. — Мало он тебе съездил? Ну-ка выпей воды.

Белоголового трясло, лицо его сразу промокло, и не оттого, что плакал, а оттого, что его всего начало выворачивать.

— Давай валяй прямо на него! — насмешливо крикнул книголюб. — Вот нашелся мне тоже иждевенец. Если плакать по любому гаду...

Прогудела сирена.

— Иду, иду, — сказал книголюб и вышел.

— Вот кого бы я сделал, — сказал беловолосый, — сразу бы...

— А он-то при чем? — удивился румяный с медицинским значком. — Ему приказали, а он нам приказал. Вот и всё.

Белоголовый сел за стол, открыл ящик, вынул бутылку, скусил металлическую пробку, налил полный стакан и выхлестнул сразу. Потом посидел, скрипнул зубам и вдруг ухнул ногой по тумбочке стола. Стол загудел и задрезжал — он был фанерный, тут всё было ненастоящее: фанерное, клеенчатое, кроме запоров — вот те, верно, были стальные и автоматические.

— Прямо сгрыз бы, — сказал лошадиный. — Слышал я этот приказ. Когда я ему прорадировал, что этот выходит ко мне, он сказал: "Э нет, так не годится. Иди и в дежурке жди. Раз он не боится, надо не предупреждать и дело делать".

— Ну и что? И правильно, — сказал румяный. — Вот и сделали.

— А потом через сколько-то радирует мне: "Поезжай в лесную сторожку. Ты не требуешься. На дачу поехал".

— Он и на дачу трех послал с машиной. Ему бы так и так был конец, — сказал румяный, — так что не переживай.

— И эта кукла удержать его не могла. Еще подвезла, чувиха безголовая.

— Тише! Они идут. Кончай выступать.

* * *

— Так Вармашев, — спросил писатель и нарочно переменял одну букву, — и говорите, у него пол-литра?

— Да больше, наверно. Там самогон гнали. Так, может, сойдем?

— Да нет, — улыбнулся писатель. — Уж похоже, буду добираться до дома, до хаты. — Но вдруг, когда книголюб был уже в тамбуре, крикнул: — Секундочку! Встречное предложение. Поедем ко мне. Ну и что что спят? В холле посидим. У меня там заначка хорошая есть. Ради бога, только не отказывайтесь! А то я совсем стал с ума сходить. Вот сижу с вами и наяву брежу.

И тогда книголюб послушно возвратился, опустил на свое место.

— С вами куда угодно.

А он, старый человек, инженер душ человеческих, как некогда выразился некто, тоскливо, с глубоким неуважением к себе подумал: "Какие же мы все-таки трусливые твари! Позвони нам так еще парочку раз, и мы от всех будем бегать. Те гады хорошо знают, что делают. Вот я расхрабрился, пошел к ним, вернулся гордый, ничего, мол, не боюсь, а потом всю дорогу издыхал от страха". Ему было так нехорошо, что он даже не знал, что сказать и что сделать. Ведь перед ним

сейчас сидел обыкновенный простецкий парень, который искренне любил его, а он даже любовь считал за фальшь и подсидку. Так стоил ли он тогда когда-нибудь настоящей любви? Он думал об этом, пока они ехали, а потом шли, и поэтому всё время болтал что-то мелкое, несуразное, только чтоб заглушить в себе этот стыд. Да нет, ему даже уже не было стыдно, он просто весь болел и пылал, как открытая воспаленная рана. Боталы! Дешевки! Groшовое повидло, как говорили на Севере. Ничего не прямо, всё в обход. Ничего на руку, всё в себя! Изогнулись, как гадюки в болоте, как собаки в клетках у гицеля¹. Ручка, ножка, огуречик... Да если бы было хоть так, а то ведь ничего подобного.

— Лекало, — сказал он вдруг громко и остановился, — чертово лекало.

— Ну за что вы его так? — огорчился книголюб. — Я сам был чертежником, там без лекала не обойдешься.

— Да, но я же не чертежник! — крикнул он в отчаянии. — Я же как-никак человек. Я же ручка, ножка, огуречик! А не какое-то лекало.

Кто-то из темноты засмеялся, а женский голос объяснил:

— А на этих электричках всегда только вот такие из Москвы возвращаются. Нарезутся там...

Прошли еще с полквартала, и тут книголюб сказал:

— Ну, кажется, дошли. Вон вывеска "Дом творчества". До свидания. А я, извините... — Он побежал обратно. — А то и не уеду. А мне обязательно нужно быть там. Сегодня же.

— Так вы не зайдете? — разочарованно вслед ему крикнул писатель.

¹ Гицель — живодеp.

— Извините. Не могу! В другой раз! Я вас только до дому провожал. Вижу, что вы как-то не вполне в себе. У меня уже ни минуты не осталось. Пока!

— А пол-литра что же?

— Так я же непьющий, — засмеялся книголюб. — Что, забыли разве? Да?

Да, да, он всё забыл.

1977





АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН

(род. в 1918 г.)

Первые рассказы А.И. Солженицын опубликовал в конце 50-х — начале 60-х годов. В них отразились прежде всего его мысли и впечатления о репрессивно-тоталитарной сути советского строя (сам писатель был арестован в 1945 г., осужден на 8 лет, после отбытия которых направлен в ссылку, полностью реабилитирован в 1957 г.).

После 1964 г. произведения Солженицына, в силу своей идейной направленности и разоблачительного характера материала, на котором они были основаны, появляются только в самиздате или за рубежом. В 1974 г. в связи с выходом на Западе 1-го тома "Архипелага ГУЛАГ" писатель был насильственно изгнан за границу. Живет в США.

Главные книги Солженицына — "Архипелаг ГУЛАГ" — обобщающее историческое повествование о терроре в СССР, его истоках и даже "теоретическом" обосновании и эпопея "Красное Колесо" — "повествование в отмеренных сроках" — философское осмысление истории русской революции.

Привлекает писателя и малый жанр рассказа. Когда первый из них ("Один день Ивана Денисовича") появился в печати, современники были поражены яркостью, красочностью языка, неожиданностью самого героя и приемов его характеристики, но и суровостью, резкостью изложения, предельной обнаженностью человеческой трагедии. А.Т. Твардовский

утверждал: уровень правды в этом рассказе такой, что после него писать, будто "Ивана Денисовича" не было, стало невозможно.

Определяя свое понимание искусства, Солженицын словно развивает, расшифровывает мысль Ф.М. Достоевского "Мир спасет красота", считая, что человечество все более ощущает свое единство на земле, поэтому не имеет права на непонимание: "Для целого человечества, стиснутого в единый ком, такое взаимонепонимание грозит близкой и бурной гибелью", но этого не произойдет, пока у человечества есть искусство, литература — "заменитель не прожитого нами опыта".

ПРАВАЯ КИСТЬ

В ту зиму я приехал в Ташкент почти уже мертвецом. Я так и приехал сюда — умирать.

А меня вернули пожить еще.

Это был месяц, месяц и еще месяц. Непуганая ташкентская весна прошла за окнами, вступала в лето, повсюду густо уже зеленело и совсем было тепло, когда стал и я выходить погулять неуверенными ногами.

Еще не смея сам себе признаться, что я выздаравливаю, еще в самых заветных мечтах измеряя добавленный мне срок жизни не годами, а месяцами, — я медленно переступал по гравийным и асфальтовым дорожкам парка, разросшегося меж корпусов медицинского института. Мне надо было часто присаживаться, а иногда, от разбирающей рентгеновской тошноты, и прилечь, понижее опустив голову.

Я был и таким, да не таким, как окружающие меня больные: я был много бесправнее их и

вынужденно безмолвней их. К ним приходили на свидания, о них плакали родственники, и одна была их забота, одна цель — выздороветь. А мне выздоравливать было почти что и не для чего: у тридцатипятилетнего, у меня не было во всем мире никого родного в ту весну. Еще не было у меня — паспорта, и если б я теперь выздоровел, то надо было мне покинуть эту зелень, эту многоплодную сторону — и возвращаться к себе в пустыню, куда я сослан был навечно, под гласный надзор, с отметками каждые две недели, и откуда комендатура долго не удабривалась меня и умирающего выпустить на лечение.

Обо всём этом я не мог рассказать окружающим меня вольным больным.

Если б и рассказал, они б не поняли...

Но зато, держа за плечами десять лет медлительных размышлений, я уже точно знал ту истину, что подлинный вкус жизни постигается не во многом, а в малом. Вот в этом неуверенном переступе еще слабыми ногами. В осторожном, чтоб не вызвать укола в груди, вдохе. В одной не побитой морозом картофелине, выловленной из супа.

Так весна эта была для меня самой мучительной и самой прекрасной в жизни.

Всё было для меня забыто или не видано, всё интересно: даже тележка с мороженым; даже подметальщик с брандспойтом; даже торговки с пучками продолговатой редиски; и уж тем более — жеребенок, забредший на травку через пролом в стене.

День ото дня я отваживался отходить от своей клиники и дальше — по парку, посаженному, должно быть, еще в конце прошлого века, когда клались и эти добротные кирпичные здания с

открытой расшивкою швов. С восхода торжественного солнца весь южный день напролет и еще глубоко в желто-электрический вечер парк был наполнен оживленным движением. Быстро сновали здоровые, неспешно расхаживали больные.

Там, где несколько аллей стекались в одну, идущую к деревянным воротам, — белел большой алебастровый Сталин с каменной усмешкой в усах. Дальше по пути к воротам, с равномерной разрядкой, расставлены были и другие вожди, поменьше.

Затем стоял писчебумажный киоск. Продавались в нем пластмассовые карандашики и заманчивые записные книжечки. Но не только деньги мои были сурово считанные, — а и книжки записные у меня уже в жизни бывали, потом попали не туда, и рассудил я, что лучше их никогда не иметь.

У самых же ворот располагался фруктовый ларек и чайхана. Нас, больных, в полосатых наших пижамах, в чайхану не пускали, но загородка была открытая, и через нее можно было смотреть. Живой чайханы я в жизни не видал — этих отдельных для каждого чайников с зеленым или черным чаем. Была в чайхане европейская часть, со столиками, и узбекская — со сплошным помостом. За столиками ели-пили быстро, в испитой пиале оставляли мелочь для расплаты и уходили. На помосте же, на циновках под камышовым тентом, натянутым с жарких дней, сидели и полеживали часами, кто и днями, выпивали чайник за чайником, играли в кости, и как будто ни к каким обязанностям не призывал их долгий день.

Фруктовый ларек торговал и для больных тоже — но мои ссыльные копеечки поёживались от цен. Я

рассматривал со вниманием горки урюка, изюма, свежей черешни — и отходил.

Дальше шла высокая стена, за ворота больных тоже не выпускали. Через эту стену по два и по три раза на день переливались в медицинский городок оркестровые траурные марши (потому что город — миллионный, а кладбище было — тут, рядом). Минут по десять они здесь звучали, пока медленное шествие миновало городок. Удары барабана отбивали отрешенный ритм. На толпу этот ритм не действовал, ее подергивания были чаще. Здоровые лишь чуть оглядывались и снова спешили, куда было нужно им (они все хорошо знали, что было нужно). А больные при этих маршах останавливались, долго слушали, высовываясь из окон корпусов.

Чем явственней я освобождался от болезни, чем верней становилось, что я останусь жив, тем тоскливей я озирался вокруг: мне уже было жаль это всё покидать.

На стадионе медиков белые фигуры перебрасывались белыми теннисными мячами. Всю жизнь мне хотелось играть в теннис, и никогда не привелось. Под крутым берегом клокотал мутно-желтый бешеный Салар. В парке жили осеняющие клены, раскидистые дубы, нежные японские акации. И восьмигранный фонтан взбрасывал тонкие свежие серебрянки струй — к вершинам. А что за трава была на газонах! — сочная, давно забытая (в лагерях ее велели выпалывать как врага, в ссылке моей не росла никакая). Просто лежать на ней ничком, мирно вдыхать травяной запах и солнцем нагретые воспарения — было уже блаженство.

Тут, в траве, я лежал не один. Там и сям зубрили мило свои пухлые учебники студентки медицинского института. Или, захлебываясь в рассказах, шли

с зачета. Или, гибкие, покачивая спортивными чемоданчиками, — из душевой стадиона. Вечерами неразличимые, а потому втройне притягательные, девушки в нетроганных и троганных платьицах обходили фонтан и шуршали гравием аллеек.

Мне было когда-то разрывающе жаль: не то сверстников моих, перемороженных под Демьянским, сожженных в Осеснциме, истравленных в Джекказгане, домирающих в тайге — что не нам достанутся эти девушки. Или девушек — за то, чего мне им никогда не рассказать, а им не узнать никогда.

И целый день гравийными и асфальтовыми дорожками лились женщины, женщины, женщины! — молодые врачи, медицинские сестры, лаборантки, регистраторы, кастелянши, раздатчицы и родственницы, посещающие больных. Они проходили мимо меня в снежно-строгих халатах и в ярких южных платьях, часто полупрозрачных, кто побогаче — вращая над головами на бамбуковых палочках модные китайские зонтики — солнечные, голубые, розовые. Каждая из них, промелькнув за секунду, составляла целый сюжет: ее прожитой жизни до меня, ее возможного (невозможного) знакомства со мной.

Я был жалок. Исхудалое лицо мое несло на себе пережитое — морщины лагерной вынужденной угрюмости, пепельную мертвизну задубелой кожи, недавнее отравления ядами болезни и ядами лекарств, отчего к цвету щек добавилась еще и зелень. От охранительной привычки подчиняться и прятаться спина моя была пригорблена. Полосатая шутовская курточка едва доходила мне до живота, полосатые брюки кончались ниже щиколоток, из тупоносых лагерных кирзовых

ботинок вывешивались уголки портянок, коричневых от времени.

Последняя из этих женщин не решилась бы пройти со мной рядом!.. Но я не видел сам себя. А глаза мои не менее прозрачно, чем у них, пропускали внутрь меня — мир.

Так однажды перед вечером я стоял у главных ворот и смотрел. Мимо стремился обычный поток, покачивались зонтики, мелькали шелковые платья, чесучевые брюки на светлых поясах, вышитые рубахи и тюбетейки. Смешивались голоса, торговали фруктами, за загородкою пили чай, метали кубики — а у загородки, прислонившись к ней, стоял нескладный маленький человечек, вроде нищего, и задыхающимся голосом иногда обращался:

— Товарищи... Товарищи...

Пестрая занятая толпа не слушала его. Я подошел:

— Что скажешь, браток?

У этого человека был непомерный живот, больше, чем у беременной — мешком обвисший, распирающий грязно-защитную гимнастерку и грязно-защитные брюки. Сапоги его с подбитыми подошвами были тяжелы и пыльны. Не по погоде отягощало плечи пальто с засаленным воротником и затертыми обшлагами. На голове лежала стародавняя истрепанная кепка, достойная огорожденного пугала.

Отёчные глаза его были мутны.

Он с трудом приподнял одну кисть, сжатую в кулак, и я вытянул из нее потную измятую бумажку. Это было угловато написанное цепляющимся по бумаге пером заявление от гражданина Боброва с просьбой определить его в больницу — и на заявлении искося две визы, синими и красными чернилами. Синие чернила были горьковские и выражали разумно-мотивирован-

ный отказ. Красные же чернила приказывали клинике мединститута принять больного в стационар. Синие чернила были вчера, а красные — сегодня.

— Ну что уж, — громко растолковывал я ему, как глухому. — В приемный покой вам надо, в первый корпус. Пойдете, вот, значит, прямо мимо этих... памятников...

Но тут я заметил, что у самой цели силы оставили его, что не только спрашивать дальше и передвигать ноги по гладкому асфальту, но держать в руке полуторакилограммовый затасканный мешочек ему было невмочь. Я и решил:

— Ладно, папаша, провожу, пошли. Мешочек-то давай.

Слышал он хорошо. С облегчением он передал мне мешочек, налег на мою подставленную руку и, почти не поднимая ног, полозя сапогами по асфальту, двинулся. Я повел его под локоть через пальто, порыжевшее от пыли. Раздувшийся живот будто перевешивал старика к переду. Он часто тяжело вздыхал.

Так мы пошли, два обтрепыша, тою самой аллеей, где я в мыслях брал под руку красивейших девушек Ташкента. Долго, медленно мы тащились мимо тупых алебастровых бюстов.

Наконец, свернули. По нашему пути стояла скамья с прислоном. Мой спутник попросил посидеть. Меня тоже уже начинало подташнивать, я перестоял лишку. Мы сели. Отсюда и фонтан было видно тот самый.

Еще по дороге старик мне сказал несколько фраз и теперь, отдышавшись, добавил. Ему нужно было на Урал, и прописка в паспорте у него была уральская, в этом вся беда. А болезнь прихватила его где-то под Тахиа-Ташем (где, я

помнил, какой-то великий канал начинали строить, бросили потом). В Ургенче его месяц держали в больнице, выпускали воду из живота и из ног, хуже сделали — и выписали. В Чарджоу он с поезда сходил, и в Урсатьевской — но нигде его лечить не принимали, слали на Урал, по месту прописки. Ехать же в поезде никак ему сил не было, и денег не осталось на билет. И вот теперь в Ташкенте добился за два дня, чтобы положили.

Что он делал на юге, зачем его сюда занесло — уж я не спрашивал. Болезнь его была по медицинским справкам запетлистая¹, а если посмотреть на самого, так — последняя болезнь. Наглядысь на многих больных, я различал ясно, что в нем уже не оставалось жизненной силы. Губы его ослабились, речь была маловнятна, и какая-то тускловатость находила на глаза.

Даже кепка томила его. С трудом подняв руку, он стянул ее на колени. Опять с трудом подняв руку, нечистым рукавом вытер со лба пот. Куполок его головы пролысел, а кругом, по темени, сохранились нечесанные, сбитые пылью волосы, еще русые. Не старость его довела, а болезнь.

На его шее, до жалкости потончавшей, цыплячьей, висело много кожи лишней, и отдельно ходил спереди трехгранный кадык.

На чем было и голове держаться? Едва мы сели, она свалилась к нему на грудь, упершись подбородком.

Так он замер, с кепкой на коленях, с закрытыми глазами. Он, кажется, забыл, что мы только на минутку присели отдохнуть и что ему надо в приемный покой.

¹ Запетлистая — здесь: запутанная, непонятная.

Вблизи перед нами серебряной нитью взвалилась почти бесшумная фонтанная струя. По ту сторону прошли две девушки рядом. Я проводил их в спину. Одна была в оранжевой юбке, другая в бордовой. Обе мне очень понравились.

Сосед мой слышно вздохнул, перекатил голову по груди и, приподняв желто-серые веки, посмотрел на меня снизу сбоку.

— А курить у вас не найдется, торварищ?

— И из головы выкинь, папаша! — прикрикнул я. — Нам с тобой хоть не куря бы еще землю сапогами погрести. В зеркало на себя посмотри. Курить!

(Я сам-то курить бросил месяц назад, еле оторвался.)

Он засопел. И опять посмотрел на меня из-под желтых век снизу вверх, как-то по-собачьему.

— Всё ж таки, дай рубля три, товарищ!

Я задумался, дать или не дать. Что ни говори, я оставался еще зэк, а он был как-никак вольный. Сколько я лет там работал — мне ничего не платили. А когда стали платить, так вычитали: за конвой, за освещение зоны, за ищеек, за начальство, за баланду.

Из маленького нагрудного кармана своей шутовской курточки я достал клеенчатый кошелек, пересмотрел бумажки в нем. Вздохнул, протянул старику трешницу.

— Спасибо, — просипел он. С трудом держа руку приподнятой, взял эту трешницу, заложил ее в карман — и тут же освобожденная рука шлепнулась на колено. А голова опять уперлась подбородком в грудь.

Помолчали.

Перед нами за это время прошла женщина, потом еще две студентки. Все трое мне очень понравились.

Годами так бывало, что ни голоса их не услышишь, ни стука каблучка.

— Еще удачно получилось, что вам резолюцию поставили. А то б и неделю тут околачивались. Простое дело. Многие так.

Он оторвал подбородок от груди и повернулся ко мне. В глазах его просветился смысл, дрогнул голос и речь стала разборчивее:

— Сынок! Меня кладут потому, что я заслуженный человек. Я ветеран революции. Мне Сергей Мироныч Киров под Царицыным лично руку пожал. Мне персональную пенсию должны платить.

Слабое движение щек и губ — тень гордой улыбки — выразилась на его небритом лице.

Я оглядел его тряпье и еще раз его самого.

— Почему ж не платят?

— Жизнь так полегла, — вздохнул он. — Теперь меня не признают. Какие архивы сгорели, какие потеряны. И свидетелей не собрать. И Сергей Мироныча убили... Сам виноват, справок не скопил... Одна вот только есть...

Правую кисть — суставы пальцев ее были круглоопухшие, и пальцы мешали друг другу — он донес до кармана, стал туда втискивать, — но тут короткое оживление его прервалось, он опять уронил руку, голову и замер.

Солнце уже западало за здания корпусов, и в приемный покой (до него оставалась сотня шагов) надо было поспешить: в клиниках никогда не было легко с местами.

Я взял старика за плечо:

— Папаша! Очнись! Вон, видишь дверь? Видишь? Я пойду подтолкну пока. Я ты сможешь — сам дойди, нет — меня подожди. Мешочек твой я заберу.

Он кивнул, будто понял.

В приемном покое — куске большого обшарпанного зала, отгороженного грубыми перегородками (за ним где-то была здесь баня, передевальня,

парикмахерская), днем всегда теснились больные и измеряли долгие часы, пока их примут. Но сейчас, на удивление, не было ни души. Я постучал в закрытое фанерное окошечко. Его растворила очень молодая сестра с носом-туфелькой, с губами, накрашенными не красной, а густо-лиловой помадой.

— Вам чего? — Она сидела за столом и читала, по всей видимости, комикс про шпионов.

Быстренькие такие у нее были глазки.

Я подал ей заявление с двумя резолюциями и сказал:

— Он еле ходит. Сейчас я его доведу.

— Не смейте никого вести! — резко вскрикнула она, даже не посмотрев бумажку. — Не знаете порядка? Больных принимаем только с девяти утра.

Это она не знала "порядка". Я просунул в форточку голову и, сколько поместилось, руку, чтоб она меня не прихлопнула. Там, отвесив криво нижнюю губу и скорчив физиономию гориллы, сказал блатным голосом, пришипывая:

— Слушай, барышня! Между прочим, я у тебя не в шестерках.

Она сробела, отодвинула стул вглубь своей комнатенки и сбавила:

— Приема нет, гражданин! В девять утра.

— Ты — прочти бумажку! — очень посоветовал я ей низким недоброжелательным голосом.

Она прочла.

— Ну, и что ж! Порядок общий! И завтра, может, мест не будет. Сегодня утром — не было.

Она даже как бы с удовольствием это выговорила, что сегодня утром мест не было, как бы укалывая этим меня.

— Но человек — проездом, понимаете? Ему деваться некуда.

По мере того, как я выбирался из форточки назад и переставал говорить с лагерной ухваткой, лицо ее принимало прежнее жестоко-веселое выражение:

— У нас все приезжие! Куда их ложить? Ждут! Пусть на квартиру станет!

— Но вы — выйдите, посмотрите, в каком он состоянии.

— Еще чего! Буду я ходить больных смотреть! Я не санитарка!

И гордо дрогнула своим носом-туфелькой. Она так бойко-быстро отвечала, как будто была пружиной взведена на ответы.

— Так для кого вы тут сидите?! — хлопнул я ладонью по фанерной стенке, и просыпалась мелкая пыльца побелки. — Тогда заприте двери!

— Вас не спросили! Нахал! — взорвалась она, вскочила, обежала кругом и появилась из коридорчика: — Кто вы такой? Не учите меня! Нам "скорая помощь" привозит!

Если б не эти грубо-лиловые губы и такой же лиловый маникюр, она была бы совсем недурна. Носик ее украшал. И бровями она водила очень значительно. Халат на груди был широко отложен из-за духоты — и виднелась косынка, розовенькая, славная, и комсомольский значок.

— Как? Если б он не сам к вам пришел, а его б на улице подобрала "скорая" — вы б его приняли? Есть такое правило?

Она высокомерно оглядела мою нелепую фигуру, я — оглядел ее. Я совсем забыл, что у меня портянки высовываются из ботинок.

Она фыркнула, но приняла сухой вид и окончила:

— Да, больной! Есть такое правило.

И ушла за перегородку.

Шорох послышался позади меня. Я оглянулся. Мой спутник уже стоял здесь. Он слышал и понял. Придерживаясь за стену и перетягиваясь к большой садовой скамье, поставленной для посетителей, он чуть помахивал правой кистью, держа в ней истертый бумажник.

— Вот... — изможденно выговорил он, — ... вот, покажите ей... пусть она... вот...

Я успел его поддержать, — опустил на скамью. Он беспомощными пальцами пытался вытянуть из бумажника свою единственную справку и никак не мог.

Я принял от него эту ветхую бумажку, подклеенную по сгибам от рассыпания, и развернул. Пищущей машинкой отпечатаны были фиолетовые строчки с буквами, пляшущими из ряда то вверх, то вниз:

"ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Справка.

Дана сия товарищу Боброву Н.К. в том, что в 1921 году он действительно состоял в славном -овском губернском Отряде Особого Назначения имени Мировой Революции и своей рукой много порубал оставшихся гадов.

Комиссар..."

Подпись.

И бледная фиолетовая печать.

Поглаживая рукою грудь, я спросил тихо:

— Это что ж — "Особого Назначения"? Какой?

— Ага, — ответил он, едва придерживая веки незакрытыми. — Покажите ей.

Я видел его руку, его правую кисть — такую маленькую, со вздувшимися бурыми венами, с круглоопухшими суставами, почти не способную вытянуть справку из бумажника. И вспомнил эту моду — как пешего рубили с коня наотмашь наискосок.

Странно... На полном размахе руки доворачивала саблю и сносила голову, шею, часть плеча эта правая кисть. А сейчас не могла удержать — бумажника...

Подойдя к фанерной форточке, я опять надавил ее. Регистраторша, не поднимая головы, читала свой комикс. На странице вверх ногами я увидел благородного чекиста, прыгнувшего на подоконник с пистолетом.

Я тихо положил ей надорванную справку поверх книги, обернувшись, все время поглаживая грудь от тошноты, пошел к выходу. Мне надо было лечь быстрее, головой пониже.

— Чего это бумажки раскидываете? Заберите, больной! — стрельнула девица через форточку мне вслед.

Ветеран глубоко ушел в скамью. Голова и даже плечи его как бы осели в туловище. Раздвинуто повисли беспомощные пальцы. Свисало распахнутое пальто. Круглый раздутый живот неправдоподобно лежал в сгибе на бедрах.

1960

КАК ЖАЛЬ

Оказался перерыв на обед в том учреждении, где Анне Модестовне надо было взять справку. Досадно, но был смысл подождать: оставалось минут пятнадцать, и она еще успевала за свой перерыв.

Ждать на лестнице не хотелось, и Анна Модестовна спустилась на улицу. День был в конце октября — сырой, но не холодный. В ночь и с утра сеялся дождик, сейчас перестал. По асфальту с жидкой грязью проносились легковые, кто по берегаля прохожих, а чаще обдавая. По середине улицы нежно серел приподнятый бульвар, и Анна Модестовна перешла туда.

На бульваре никого почти не было, даже и вдали. Здесь, обходя лужицы, идти по зернистому песку было совсем не мокро. Палые намокшие листья лежали темным настилом под деревьями, и если идти близко к ним, то как будто вился от них легкий запах — остаток ли отданного во времени жизни или уже первое тление, а все-таки отдыхала грудь меж двух дорог перегоревшего газа.

Ветра не было, и вся густая сеть коричневых и черноватых влажных... — Аня остановилась — ... вся сеть ветвей, паветвей, еще меньших веточек, и сучочков, и почечек будущего года, вся эта сеть была обнизана множеством водяных капель, серебристо-белых в пасмурном дне. Это была та влага, что после дождя осталась на гладкой коже веток, и в безветрии сочилась, собиралась и свесилась уже каплями — круглыми с кончиков нижних сучков и овальными с нижних дуг веток.

Переложив сложенный зонтик в ту же руку, где была у нее сумочка, и стянув перчатку, Аня стала пальцы подводить под капельки и снимать их. Когда удавалось это осторожно, то капля целиком передавалась на палец и тут не растекалась, только слегка плющилась. Волнистый рисунок пальца виделся через каплю крупнее, чем рядом, капля увеличивала, как лупа.

Но, показывая сквозь себя, та же капля одновременно показывала и над собой: она была еще и шаровым зеркальцем. На капле, на светлом поле от облачного неба, видны были — да! — темные плечи и пальто, и голова в вязаной шапочке, и даже переплетение ветвей над головой.

Так Аня забылась и стала охотиться за каплями покрупней, принимая и принимая их то на ноготь, то на мякоть пальца. Тут совсем рядом она услышала твердые шаги и отбросила руку, устыдясь, что ведет себя, как пристало ее младшему сыну, а не ей.

Однако проходивший не видел ни забавы Анны Модестовны, ни ее самой — он был из тех, кто замечает на улице только свободное такси или табачный киоск. Это был с явной печатью образования молодой человек с ярко-желтым набитым портфелем, в мягкошерстном цветном пальто и ворсистой шапке, смятой в пирожок. Только в столице встречаются такие ранне-уверенные, победительные выражения. Анна Модестовна знала этот тип и боялась его.

Спугнутая, она пошла дальше и поравнялась с газетным щитом на голубых столбиках. Под стеклом висел "Труд" наружной и внутренней стороной. В одной половине стекло было отколото с угла, газета замокла, и стекло изнутри обводнилось. И именно в этой половине внизу Анна Модестовна прочла заголовок над двойным подвалом: "Новая жизнь долины реки Чу".

Эта река не была ей чужа: она там и родилась, в Семиречьи. Протерев перчаткой стекло, Анна Модестовна стала проглядывать статью.

Писал ее корреспондент нескупого пера. Он начинал с московского аэродрома: как садился на самолет и как, словно по контрасту с хмурой

погодой, у всех было радостное настроение. Еще он описывал своих спутников по самолету, кто зачем летел, и даже стюардессу мельком. Потом — фрунзенский аэродром и как, словно по созвучию с солнечной погодой, у всех было очень радостное настроение. Наконец, он переходил собственно к путешествию по долине реки Чу. Он с терминами описывал гидротехнические работы, сброс вод, гидростанции, оросительные каналы, восхищался видом орошенной и плодоносной теперь пустыни и удивлялся цифрам урожаев на колхозных полях.

А в конце писал:

”Но немногие знают, что это грандиозное и властное преобразование целого района было замыслено уже давно. Нашим инженерам не пришлось проводить заново доскональных обследований долины, ее геологических слоев и режима вод. Весь главный большой проект был закончен и обоснован трудоемкими расчетами еще сорок лет назад, в 1912 году, талантливым русским гидрографом и гидротехником Модестом Александровичем В*, тогда же начавшим первые работы на собственный страх и риск”.

Анна Модестована не вздрогнула, не обрадовалась — она задрожала внутренней и внешней дрожью, как перед болезнью. Она нагнулась, чтобы лучше видеть последние абзацы в самом уголке, и еще пыталась протирать стекло и едва читала:

”Но при косном царском режиме, далеко от интересов народа, его проекты не могли найти осуществления. Они были погребены в департаменте земельных улучшений, а то, что он уже прокопал — заброшено. Как жаль! — (кончал восклицанием корреспондент) — как жаль, что молодой энту-

знает не дожид до торжества своих светлых идей! что он не может взглянуть на преображенную долину!”

Кипяточком болтнулся страх, потому что Аня уже знала, что сейчас сделает: сорвет эту газету! Она воровато оглянулась вправо, влево — никого на бульваре не было, только далеко чья-то спина. Очень это было неприлично, позорно, но...

Газета держалась на трех верхних кнопках. Аня просунула руку в пробой стекла. Тут, где газета намокла, она сразу сгреблась уголком в сырой бумажный комок и отстала от кнопки. До средней кнопки, пристав на цыпочки, Аня все же дотянулась, расшатала и вынула. А до третьей, дальней, дотянуться было нельзя — и Аня просто дернула. Газета сорвалась — и вся была у нее в руке.

Но сразу же за спиной раздался резкий drobный турчок милиционера.

Как опаленная (она сильно умела пугаться, а милицейский свисток ее и всегда пугал), Аня выдернула пустую руку, обернулась...

Бежать было поздно и несолидно. Не вдоль бульвара, а через проем бульварной ограды, которого Аня не заметила раньше, к ней шел рослый милиционер, особенно большой от намокшего на нем плаща с откинутым башлыком.

Он не заговорил издали. Он подошел, не торопясь. Сверху вниз посмотрел на Анну Модестовну, потом на опавшую, изогнувшуюся за стеклом газету, опять на Анну Модестовну. Он строго над ней высился. По широконосому румяному лицу его и рукам было видно, какой он здоровый — вполне ему вытаскивать людей с пожара или схватить кого без оружия.

Не давая силы голосу, милиционер спросил:

— Это что ж, гражданка? Будем двадцать пять рублей платить?..

(О, если только штраф! Она боялась — будет хуже истолковано!)

— ... Или вы хотите, чтоб люди газет не читали?

(Вот, вот!)

— Ах, что вы! Ах, нет! Простите! — стала даже как-то изгибаться Анна Модестовна. — Я очень раскаиваюсь... Я сейчас повешу назад... если вы разрешите...

Нет уж, если б он и разрешил, эту газету с одним отхваченным и одним отмокшим концом трудновато было повесить.

Милиционер смотрел на нее сверху, не выражая решения.

Он уж давно дежурил, и дождь перенес, и ему кстати было б сейчас отвести ее в отделение вместе с газетой: пока протокол — просушиться маненько. Но он хотел понять. Прилично одетая дама, в хороших годах, не пьяная.

Она смотрела на него и ждала наказания.

— Чего вам газета не нравится?

— Тут о папе моем! .. — Вся извиняясь, она прижимала к груди ручку зонтика, и сумочку, и снятую перчатку. Сама не видела, что окровянила палец о стекло.

Теперь постовой понял ее, и пожалел за палец и кивнул:

— Ругают?.. Ну, и что одна газета поможет?..

— Нет! Нет-нет! Наоборот — хвалят!

(Да он совсем не злой!)

Тут она увидела кровь на пальце и стала его сосать. И всё смотрела на крупное простоватое лицо милиционера.

Его губы чуть развелись:

— Так что вы? В ларьке купить не можете?

— А посмотрите, какое число! — она живо отняла палец от губ и показала ему в другой половине витрины на несорванной газете. — Ее три дня не снимали. Где ж теперь найдешь?!

Милиционер посмотрел на число. Еще раз на женщину. Еще раз на опавшую газету. Вздохнул:

— Протокол нужно составлять. И штрафовать... Ладно уж, последний раз, берите скорей, пока никто не видел...

— О, спасибо! Спасибо! Какой вы благородный! Спасибо! — зачастила Анна Модестовна, всё так же немного изгибаясь или немного кланяясь, и раздумала доставать платок к пальцу, а проворно засунула всё ту же руку с розовым пальцем туда же, ухватила край газеты и потащила. — Спасибо!

Газета вытянулась. Аня, как могла при отмокшем крае и одной свободной рукой, сложила ее. С еще одним вежливым изгибом сказала:

— Благодарю вас! Вы не представляете, какая это радость для мамы и папы! Можно мне идти?

Стоя боком, он кивнул.

И она пошла быстро, совсем забыв, зачем приходила на эту улицу, прижимая косо сложенную газету и иногда на ходу посасывая палец.

Бегом к маме! Скорей прочесть вдвоем! Как только папе назначат точное жительство, мама поедет туда и повезет сама газету.

Корреспондент не знал! Он не знал, иначе б ни за что не написал! И редакция не знала, иначе б не пропустила! Молодой энтузиаст — дожил! До торжества своих светлых идей он дожил, потому что смертную казнь ему заменили, двадцать лет он отсидел в тюрьмах и лагерях. А сейчас, при этапе на вечную ссылку, он

подавал заявление самому Берия, прося сослать его в долину реки Чу. Но его сунули не туда, и комендатура теперь никуда не приткнет этого бесполезного старичка: работы для него подходящей нет, а на пенсию он не выработал.

1965





СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Федор Кузьмич Сологуб	7
Дмитрий Сергеевич Мережковский	31
Иван Сергеевич Шмелёв	47
Алексей Михайлович Ремизов	58
Саша Черный	77
Евгений Иванович Замятин	98
Михаил Афанасьевич Булгаков	116
Илья Григорьевич Эренбург	140
Марина Ивановна Цветаева	153
Борис Андреевич Пильняк	172
Леонид Иванович Добычин	187
Андрей Платонович Платонов	197
Владимир Владимирович Набоков	220
Варлам Тихонович Шаламов	241
Юрий Осипович Домбровский	258
Александр Исаевич Солженицин	281



Sast. Aleksandrs Semjonovs

RŪGTĀ SLAVA

Redaktors *G. Silakalne.*
Māksl. redaktors *M. Alševska.*
Tehn. redaktore *A. Svilpe.*
Korektore *T. Magone.*
Vāku zīm. *O. Bērziņš.*

Valsts izdevniecība "Zvaigzne", LV 1013, Rīgā, K. Valdemāra
ielā 105. Registr. Nr. 000304186. Izdevn. Nr. 8501/H-80.
Formāts 70 x 100/32. Izdevums sagatavots datorsalikumā
izdevniecībā "Zvaigzne". Operatore M. Krasnais.
Iespīests AS "Preses nams" tipogrāfijā,
LV 1081, Rīgā, Balasta dambi 3.
Pasūt Nr. 2 4 3 6

